

Н.Ф.Б.
Абсолютный пейзаж

Возвращение восточного ветра

Имена послов

Иерусалимский тропарь

Николай
Болдырев-Северский

Абсолютный
п е ѿ з а ж

Стихотворения из трех книг

Челябинск
2023

ББК 84 (2Рос=Рус)6

УДК 821.161.1

Б79

Болдырев-Северский Н.Ф.

Абсолютный пейзаж. – Челябинск.: Студия
Единорог, 2023. - 208 С.



© Н.Ф. Болдырев-Северский, текст, 2023
© Студия Единорог, оформление, 2023

Возвращение восточного ветра

Вместо предисловия

Движение в сторону себя себе неизвестного предполагает доверие невидимому. Тому самому, в котором наша сущность пребывает на девять десятых.

Утренняя дрожь всего существа, когда идешь по холодной росе, – от этого. Это восток в нас гудит. Ибо все мы рождены на восточном склоне. И все возвращения наши из невидимого в видимое – с востока. И нам так хочется возвратить себя себе, сделать прижизненный ответный жест. Нам хочется, чтобы некая речь помыслила нас, задумалась о нас, даже если мы (наше однодесятое существо) ничего в не поймем в ней и лишь пожмем плечами. Нам так жаждется воссоединиться. Вот в чем причина так называемого «поиска своей собственной речи», «своего языка»: ты движешься к востоку в себе, возвращаешь себя невидимому ветру, который унесет тебя однажды непременно. «Какими были твое имя и твое лицо до того, как ты был рожден своими родителями?»

12.12.1996

* * *

Меж мной и деревом – громадные пути.
Меж мной и деревом – зазор.
Но этот путь мне не пройти.
Хотя и кажется, что пуст простор.
Так просто всё.
Так прост воздушный хмель.
И облаком начиненная мгла.
Но вдруг взрывает этот путь мохнатый шмель.
И брызгами летит волна стекла.
Когда же я обмолвлюсь о тебе,
ты закрываешь рот своим мне спелым ртом.
Ты ждешь, когда закат войдет в мольберт.
А бог дождей меня впускает в дом.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

I

Неустанность восточного ветра поразительна.
Он дует уже столько тысяч лет!
Его дыхание неостановимо-решительно.
И потому нам иногда кажется,
 что восточного ветра нет.

А в эти мгновения он пронизывает нас еще сильнее,
выдувая из нас целые, решительно никакие, миры.
На вершине горы мы кажемся ветру умнее,
потому что он дует там с незапамятной поры.

В долинах жизнь идет совсем другая.
В долинах восточного ветра почти нет совсем.
В долинах восточным ветром детей пугают.
А умы зажигают искрами столкновенья систем.

Восточный ветер так далек от нас, что это
ему, по-видимому, до конца его дней не простят.
Восточный ветер приходит с постоянством света.
Но его никогда не увидит наш взгляд.

II

Восточный ветер такую лавину снов накатывает, что
только и успеваешь рыскать по каталогам.
Память так неразборчива, что миллионы листов
рассыпаются просто так по бесконечным дорогам.

Сонный товарный вагон застрял на станции Ив.
Речка течет облучённая лучниками Китая.
На ветке сонного дерева, рот изумленно раскрыв,
мальчик, забыв про растения, в созерцаниях тает.

Кто принесет нам известие из этого края краев,
где патефоны из моды вышли столетий как двести,
где шербурские зонтики и Катрин Денёв
плавают в море забвения с Эвридикую вместе?

С лучниками Китая кто неразлучен был?
Кто забывает без устали те и эти просторы?
Сколько высохших рек в жизни ты переплыл?
Сколько тихих долин вдруг превратились в горы?

Ветер, ветер, ветер, восточный ветер не спит.
Не шелохнется ресница на оке его господина.
Никто никогда не услышит, как сердце его болит.
Никто никогда не увидит его распятого сына.

III

Пагода затерялась в невысоких горах.
Там неподалеку затаился монах Ю.
Впрочем, не затаился: себя обрел.
У монаха Ю – прорехи в штанах,
ночи без снов как у волшебника из Гель-Гью,
ива у ручья да пара возле хижины жердёл.

У монаха Ю – непостоянство утех.
Он носит воду да собирает хворост для костра.
А еще он медленно луну растит.
Монах Ю хотел бы утешить всех.
Но только сабля его еще недостаточно остра.
И озеро молчит еще, которое его простит.

Монах Ю день и ночь собирает росу
со всех в округе трав.
Он лечит деревья, сколько сил хватает;
кланяется ветрам;
а еще он любит под дождем стоять.
Монах Ю лишил себя всех гражданских прав,
давно забыл про всяческий стыд и срам,
и никто не заставит его мысли течь
вперед или вспять.

Монах Ю фантастически глуп.
Под облаками он так поглупел,
что не смог бы даже досчитать до десяти.
Ему кажется, что центр мира – его собственный пуп,
что бог до земли добраться еще не успел
и что без помощи трав нам до небес никак не дойти.

Пагода затерялась в невысоких горах.
Неподалеку возле хижины играет на лютне ветер,
а не бородач.
Как его пальцы хороши!
Они не знают, что такое восторг и страх.
Перед ними не стоит монблан задач.
А в окрестностях сердца монаха Ю
вы не встретите ни души.

IV

Восточный ветер не несет перемен.
Восточный ветер реет с вершин.
В восточном ветре нет ни измен,
ни скрежета воли, ни воплей машин.

Восточный ветер распахивает нас до дна.
Нас обессиливши, он проходит насквозь.
И тогда в наши сны входит обессмысленная луна.
И мы начинаем спать так,
как еще никогда не спалось.

Матрицу времени изготавляет какой-то слепец.
Он не знает ничего кроме желания
пронзить нас копьем.
Восточный ветер положит желаньям нашим конец.
И падая с горных вершин,
мы наконец что-то поймем.

V

К восточным воротам подошел караван.
Полный груза, полный груза.
Но пусты карманы, пусты карманы каравана.
Открыты все шлюзы, и очи – как друзья,
и мечены музы печалью.
К восточным воротам подошел караван,
невидимый страже.
Он долго стоял, наблюдая ворота,
наблюдая быт стражи
и даже быть может горные пики и дали.
Умолкли скрижали, когда подошел караван,
невидимый сверху, невидимый сбоку,
невидимый снизу.

Постоял столетий так двести. Помолчал,
попечалился молча и ушел,
как будто здесь не было никого.
Лишь ворота остались смотреть в восточные дали.
И никто никогда здесь не скажет,
кого же здесь ждали.
А ветер по-прежнему будет здесь дуть
только с востока, только с востока.
И стража по-прежнему будет подшивать валенки,
тосковать да лиха поминать...
О, как же ей здесь одиноко,
когда так пахуче запада зелье,
когда на запад, на запад умчались их жены и кони.
Их мучить похмелье, и влажны и влажны ладони.
Скрипят, скрипят их бесчисленных отчетов
скрипучие мысли и перья.

VI

Пусть скажет мне каждый,
как осень стекает по желобу крыши.
Кто выше меня, пусть о мне намекает
тому, кто нас выше.

А впрочем, зачем это всё,
зачем пылесосы,
в том мире, где нет ни пылинки,
где неба откосы
так медленны, так величавы, внезапны,
как детские капли на коже,
как лунные пятна.

Оставьте меня посреди одинокого мира,
где есть только сосны.

Их несколько штук, они делают ветер
на склоне откосном.

А рядом в долине деревня тиха и недвижна
укрылась меж гор словно в детство.

О, как здесь некнижно!

Забывчив я здесь, словно не был никем я еще
и конечно никем и не стану.

Купите мне холм и растрату корней
и верните меня этих трав океану!

* * *

Возвращение – единственная любовь,
что блажит реальностью Того Света.
Кто прислал сюда меня всего?
Я дрожу на краю рассвета.

Блажь изысканностью всего страшней,
потому что не может быть дали ближе,
чем сияющая из близких дней
маета, что теленка лижет.

О, как лижет младенцев мать,
выпуская нас в мир восточный.
Призывающая принимать
всё, что льется водой проточной.

На востоке горит ясней
перламутровая Кассиопея.
Вместе с нею мы *сним* вольней
незатейливую песню змея.

Змеев – это Бог и есть.
Назовем его пустотою,
назовем клеветою весть,
будто смысл шевелит листвою.

Стихословие – болтовня.
Бред стремится нас убаюкать.
Сто эонов или полдня:
все равно не укусишь локоть.

Всё неправда, любой пассаж,
если хочешь назвать земное,
не земное, но тот выраж,
за которым мы мчимся строем.

За которым бежим толпой
сто эонов подряд безумных.
Но, невидим, бредет с сумой
тихоокий в плenу бесшумных

легковерных ленивых дев,
называемых мною – зимы.
Я б хотел, чтобы песню спев,
становились мы нелюдимы

и любимы рекой, листвой
и восточным покатым склоном.
Возвращенья всегда – домой.
Даль укрыта травой и лоном.

* * *

* * *

Летит, летит моя лодка,
не зная отваги.
Как весело нам здесь и кротко
в отточиях влаги.
Как кратко нам здесь, мой любимый,
мой некто и кто-то.
Так людно здесь и нелюдимо
и так неохота
мне слышать о том, что Бог стал
публичною девкой отныне и присно.
Как пресно нам стало здесь жить,
как некрепко
 стоим возле лодки; капризно
уста наши дышат,
и голос дрожит,
и уши не слышат
ни ангелов строгих, ни демонов разных.
Напрасно, напрасно
проходит удача,
и сердце напрасно скребется.
Уходят, уходят всё дальше,
всё глубже ключи и колодцы.

* * *

Тихий ангел вошел к тебе
и сел с другого конца.
И ты попробуй сказать ему,
что нет на нем креста.
Крестовиной вознесся вдруг
сине-малиновый звон.
Но он в тебе, в тебе одном –
крестообразный стон,
поднимающийся медленно
по позвоночнику вверх,
а потом через руки
вспыхивающий в кончиках век.
Но это всё ты, а ангел-то тут при чем?
Он молниеносно блеснул тебе
своим семицветным мечом.
Он посидел незаметно
с края твоих невзгод.
И истаял бесследно
в сини светящихся вод.

* * *

Сколько бы ни пел нам, покачиваясь, синий крест,
мы не услышим этот звон.
Мы вероятно вообще не из этих мест,
и пеньем мы не называем стон.

Синяя птица Тракля пересекла наш двор,
вымощенный брускаткой
посреди средневековых шпалер.
Но как поймать ее, если ты не вор?
Как пройти по двору, если у тебя нет манер?

Каждое дерево слышит только слышимое ему.
Шепотком доносится к нам ниоткуда слово.
Я вовеки веков смысла его не пойму.
Я не вижу движения даже руки простого.

* * *

* * *

Люди ходят вокруг меня, ходят.
А сам я как будто стою на одном месте.
Все они как будто чего-то ищут.
Я же словно не могу понять, где я.
Они говорят, говорят, а я спрашиваю себя:
где я это когда-то слышал?
Или наоборот: это бормотанье вокруг –
словно лай собачий.
Кто-то завел этот театр однажды,
и всё зашевелилось, заиграло,
куда-то забегали люди, как будто кто-то научил их
этому неприхотливому сюжету,
у которого будто бы есть цели и смыслы.
Я стою рассерженный и зачумленный.
Мне никто не дал никакой роли.
Я стою, слушаю, головой верчу
посреди бескрайнего неба,
которое и небом-то назвали случайно.
Так, какому-то актеришке пьяному
в голову взбрело словечко.

* * *

И Кадриорга лился лунный свет.
И медленно накропывала осень.
Еще не знали мы, что мира нет,
а есть один лишь свист пахучих сосен.

Еще не знали мы, что в никуда пути
ведут любого, кто дорогу ищет.
Что непогода каждого простит,
кто в поле словно тать безумный свищет.

А осенью куда вернется бог?
Он сам не знает, почему вдруг хочет
ступить на тот, на медленный порог,
где память, словно роща в ветер, ропщет.

* * *

Я вижу и с закрытыми глазами,
как лжива ты, как суэтна, тщеславна,
беспечна, ветрена, не так уж и красива...
Всё вижу я и все-таки и все же
мне безупречнее, чем ты, не отыскать:
как откровенно дышит всё в тебе тобою!
Всё-всё в тебе оглашено одной тобой!

* * *

Свет очей твоих
освещает меня не случайно:
значит похожее что-то
есть в наших судьбах.
Древние греки
«светом очей» называли
только ответный поток:
не импульс, но отклик.
Свет моих глаз –
вот ты кто,
ну конечно.
Не уходи же,
иначе ослепну.

* * *

Веер крышу готов сорвать.
Но что он мне даст вместо этого?
Движется медленно-медленно сад.
И однажды я не замечу, что нет его.

Медленно-медленно улетает крыша от слов,
и слова остаются голыми.
Незапечатленье основ
бессмысленными глаголами.

Медленно деревья переходят в меня
шелковыми, шелковистыми прядями.
Не зажигая огня,
сижу, обложившись тетрадями.

* * *

Если бы (и чего, казалось бы, проще!)
войти в этот ритм:
вставать на первом рассвете,
выходить в древнейшие испарения луга
и в бело-розовый Эос озерный,
день завершая вечерним молчаньем
молитвенной ивы
под флейту свистящую уток.
Ночью перемещаться чуть слышно
вместе с движеньем созвездий,
под утро истаивая вместе с ними
и уплотняясь в вещей и стихий тысячерукость,
ощущая себя тысячеглавым, тысячесердым Шивой...
И в этом ритме однажды утратить
себя ощущенье...

* * *

Конечно, от себя сказать человек ничего не может.
Потому что кто же это он «сам»,
когда он есть всего лишь полость, некоторая ёмкость,
некоторый инструмент

навроде тромбона или флейты
или гармошки с суммой отверстий, в которые
кто-то дует, сжимает меха и разжимает.
Не от себя человек говорит, а просто стремглав
что-то лепечет, причитает без разбора,
поддаваясь лишь некоему таинственному складу,
а иногда еще ритму и чувству меры,
которым его тоже здесь научили.
И вот лепечет он и лепечет, совсем не понимая
ни смысла, ни толку. Иногда лишь вслушиваясь
зачарованно в чужое бормотанье,
за которым встают какие-то непонятно-чарующие
райские кущи, какие-то волнующе-неземные
грады и замки...

25.05.1996

* * *

Ты знаешь, как ветер поет в проводах,
но ты не знаешь, как поет смерть.
Ты ходишь дорогами, которыми ходят все,
но ты не знаешь дорог, которых нет.
Ты слышишь, что Моцарт уже сочинил,
на рассвете носом уткнувшись в траву.
Но ты не слышишь движенья травы,
но ты не видишь невидимых стрел.
А смерть поет, но совсем не так,
как утренний ветер поет в проводах.
А Моцарт ходит дорогой не той,
которой – нам кажется – он прошел.

* * *

Словно полный до краёв кувшин
мы несём в руках свою судьбу,
боясь его расплескать.
Но потом так увлекаемся далью,
что бежим, забывая о кувшине,
и однажды вдруг замечаем,
что он совсем-совсем пуст...
И тогда мы спрашиваем себя:
так в чем же отныне наша судьба:
неужели в том, чтобы нести совсем пустой сосуд?
Но тогда кто здесь кого несет?
Мы – эту пустоту? Или же эта пустота – нас?

* * *

Я знаю, что нас убаюкает время,
что ветер истрет наши голые лица,
и семя взойдет, позабытое всеми,
и кромкой пройдет мировая волчица.

Жар-птица летит в бесконечном пространстве.
А время баюкает нас, напевает,
волхвует как море, а что навевает?
Нельзя не бояться невидимых странствий.

Ах, море морское: то горы, то горе.
Лучит наше время никто из-под века.
И змей-небожитель, и тень человека
безвидно витают в промытом просторе.

Нас время ко сну словно в люльке качает.
А рядом блажит тишина между сосен.
Не к нам, а домой пробирается осень.
И кто-то ее как родную встречает.

* * *

Нет слов, мой дальний, нет слов.
Стекло прозрачно, как будто нет его.
Никто не присыпает послов.
Не присыпает послов.
А мне послать некого.
Даль передо мной не заполнена ничем:
ни тоскою, ни обидами, ни цитатами,
ни лентами снов, ни сияньем мифологем,
ни скрижалиями, ни цепями, ни датами.
Не пугайся, мой Август, но я совсем опустел.
Сижу, как дом в ожиданье хозяина.
Рассматриваю размывы и пятна сероватых стен
иль изумляюсь потолков дизайну.
Мой милый Август, я непроходимо туп,
и нет в моем мозгу ни капли остроты, тем паче перца.
Мне нравится смотреть, как облака меня несут,
и посвисты из облака ронять

на Пушкина в объятьях Терца.

Мой Август, я пустее с каждым днем.
Но стены мои тонки, зыбки, хрупки.
Я не уверен, что способен быть жильем.
Покуда же вселяются в меня мгновения и даже сутки.
Мой дальний, как тебе меня понять,
когда нет слов, заречных смыслов нет и дали – тоже.
Я вижу за стеклом всё то, что не объять
ни ужасом, ни сном:

весь хор земной объять сие не сможет.

* * *

Закружило в снегах мой день.
Запуржило его, запорошило.
Охмурила меня, заморочила
светотень.

Ослепителен этот миг,
эта поздняя расторопица.
Снега обморок. Незддоровится
в сонме книг.

Что-то светится, словно снег.
Что-то – леса темной громадою.
Междуними я тихо падаю
в годы рек.

Изреченное – это свет.
Остальное во мраке стелется,
как ночная эта метелица –
в реках лет.

* * *

Все это так примитивно, как сказ.
Как яблочный Спас, спасающий яблоки жизни
от хвороста дней.
Как яблоко, взрезаемое недрогнувшей рукой.
Как сам покой,
восставший вдруг из ничего
подобно младенческой улыбке.
И голос скрипки
доносится не из сарая каретника
какого-то там допотопного года,
но из самого свода.
И сыплются струинки дождей
на лики не спасших никого вождей.
О примитивность, здравствуй!
Говорю я голосом почти что восхожденья в рай.
И яблоко кидаю в горло речки.
И тот, кого я называю Засыпай,
блаженно дремлет как господь у печки,
в темную-темную глухую ночь,
когда в Поднебесной сторожей отменили,
отменили воров и теперь не счастье
расторопных путников по неизвестной пустыне.
Отменили добро и зло, веру и честь.
Но только не Яблочного Спаса
в его бесконечной силе.

* * *

Когда блаженства нет,
то хаос будет здесь.
И в горном городе,
в пейзаже синем
цветет миндаль.
Когда миндаль цветет,
то лип престранен мёд.
Вдруг падают с вершин
лавины прошлых грёз.
Нет ничего вокруг,
что не было б тобой.
Блаженство расцветать
и падать, сохнуть, тлеть.
Останься тем, кто есть.
Войди в себя, как Бог.
Который шевелит акации цветы
и теребит усы громадных этих трав.
Когда ты лжешь как Бог –
тогда ты прав, ты прав!

* * *

Всё, что мы делаем, мы делаем для чего-то.
Но ведь надо же что-то делать просто так,
не из корысти?

Просто смотреть и просто слушать.
Бродить по лесным дорогам без всякой цели.
И вслушиваться в себя, не домогаясь смысла.
А если к тебе подойдет человек –
просто войти в него, как в церковь,
и услышать, как там поют и стонут духи;
и бросить на землю серебряную монету,
которую либо подберет, либо не подберет нищий.
И сочинять стихи – просто так, не для кого-то.
Не для того, чтобы потом кто-то их
зачарованно слушал.
Просто сочинять стихи – как бродят по округе тени.
Просто сочинять стихи –
как будто ты еще не родился
и нет у тебя ни на кого надежд
и ни к кому никаких счетов.

* * *

* * *

Как прошелестит во мне эта осень,
я не знаю, я не знаю, я не знаю.
Пройдет, просверчит...
Нет языка.
Невнятница.
Что там, за перевалом шаблонов и штампов?
Шелест. Осень шелестит,
не заходя. Вдали.
Ничто не захлестнет меня в упор.
Неведомо, кто здесь прошел.

* * *

Там, где есть я, быть может и сам Трисмегист
незаметно уйдет, незаметно уйдет.

Тихо соль оседает и плавится лед,
отрывается меченый лист.

Голоса бесполезны, когда нас в них нет.

Дело близится к ночи, а ночь ни при чем.

Приходите, садитесь, начнем.

Приготовим Иову ответ.

Польза только что где-то была, но ушла.

Красота промелькнула и канула в дождь.

Вновь сомкнулось отчаянье рощ.

Море дремлет под колокол зла.

Моря нет, это кажимость только, есть ветер в глаза.

Есть напор мокрой тьмы и чего-то еще.

А под кожей Земли – горячо,
там бушует, грохочет гроза.

Бог Иова играть бесконечно устал.

Флейта смерти все чаще в ходу.

И бредовые мысли бродят в трещинах скал,
и цветы засыпают в бреду.

* * *

Неуклюжи пространства плохо прочитанных книг.
В эту ночь ты наверное спал или просто не жил.
Или просто бродил словно вор или архистратиг
по полям неуклонным, где кто-то гробницу сложил.

Ночью важно в глухи тиховейной блажить,
но не спать.
Ну а если дремать, то подремывать чуть свысока.
Посмотри как заманчива книги нечитанной стать.
Посмотри как неведомы сами себе облака.

* * *

Расплетая этот ветхий дикий сад,
я ветшаю, словно вечно виноват
в неподвижности летящих дней,
в незамеченности ста лучей.

Сто лучей давным-давно не прочно
обойти меня и смыться в горы, в ночь.
Все уйдет скорей всего не в речь,
не в мелькание ненужных бражных встреч.

Все уйдет... Вот все, что ты поймешь.
Остальное – в горле ком иль нож.
О механика пустынных лет!
Тронешь струны – отзовется бред.

Колокольни пустоты звучат
день и ночь, не возвращаясь в лунный сад,
где с тобой мы входим в чистый снег,
тихо сжав границы лет и век.

* * *

Научи меня плыть посреди беспардонных пучин.
Я не знаю, кто есть здесь, а может быть нет никого.
Не напрасно сияет пространство
бесстрастных причин.
И закваска иная у нас, чем у тех, кто увяз в статус-кво.

Неподвижна отвага, а все остальное течет.
Море будет потом, а сейчас ты еще ручеек.
Заплати за меня этим призракам сна, звездочет,
а не то я усну, лицезрея бездонный Восток.

Море нашей отваги едва ли измерить дано.
Мы увидим себя лишь на кончике самом пера.
Мы значение жизни вкушаем, как боги вино,
пропадая вдали, где бессонно волхвует гора.

* * *

О, это небо, высотой с бесконечный дом.
О, этот чайник, смиренный и верный, как пес.
Все, что приходит, это конечно вздор,
кроме того, что однажды сюда ты принес.

Что же принес ты? Эти глаза, чтоб смотреть,
руки – рубанком плести кружевную вязь,
медленный ум, чтоб тихонько под соснами зреть
и умереть в разнотравье
как травный вельможный князь.

День незаметен как будто, и все же единственno он
и существует в пространстве бездонных времен.
Как он простеци простирая:
громадный невидимый слон,
невероятно спокоен и океански умен.

Просто тихо сидеть и касаться случайно ствола
вишни коричневой и позабыть абсолютно про всё,
что тебе память твоя, боже мой, наплела,
Жанна Д'Арк наплела и Мацуэ Басё.

Ветреной свежестью ты проницаем весь.
Выключен чайник, лопнул внезапно стакан.
Все, что случилось в мире, случилось конечно здесь.
То не стакан отошел, то пронесся в тебе ураган.

7.08.2000

* * *

Фантастические дали.
Мы с тобой не всё сказали.
Полумесяцем луна.
Нил течет под нами синий
и зеленый, черный или
крокодилово-большой.
Мы с тобой как будто дома.
Нам с тобою незнакомо
чувство памяти другой.
Нам другой планеты чувство
затмевает память густо.
Память нежити простой.
Мы не можем быть собою,
потому что с пустотою
поселился мелкий страх.
Звездам и морям навстречу
пирамид мы слышим речи,
и в ночи молчит аллах.
На колени встанет кто-то,
чтобы звезд услышать грохот,
чтобы жизнь ушла в песок.
Нил течет под нами черный.
В глубь земли уходят волны.
Что-то смотрит нам в висок.

* * *

Блаженная суть не становится меньше блаженной,
когда мы уходим под воду, в песок.
Я слышу две ноты гитары ночной и полдневной
под небом, чей край и прохладен, и чист, и высок.

Кто ловит меня, пусть уловит скольжение рыбы,
чей хвост промелькнул высоко в облаках.
Я время беру словно льда колоссальные глыбы,
которые тают в моих колоссальных руках.

Как холодно время и как горячи мои руки!
Как миг этот странен, когда мы
друг с другом сошлись!
Мы мерим блаженные штольни
безбрежной космической скуки,
а нас промеряет блаженно
 кудрявая дурочка – Мысль.

* * *

Колдовство расцветает при полной наготе,
при бирюзости лиц, отсутствии мыслей и тел.
Царственные звуки присутствуют в пустоте.
Но колдуний и колдовских наречий
кому известен удел?

Мы ничего не знаем про эту речь;
которую и речью-то не назовешь.
Блины пекущий должен забыть про блины
и просто печь,

иначе цена его жизни – просто гроши.
Колдовством охвачено всё вокруг.
Мы охвачены колдовским языком.
Ни для чего живущих взглядом старух

мёд жизни слизываем никому не видимым языком.
Забита дверь, откуда ты вошел.
Ты движешься откровенно в никуда.
Так какого же рожна тебе? Ты – осел,
не умеющий сказать ни «нет», ни «да».

Ты ослик маленький, на котором мир
въезжает в тартарары.

Ты сам себя напоил хоть раз
от того мгновенья, от той поры,
когда тебе был дарован не мир, но сказ?
Вспомни, каким растением ты стелился по земле!
Каким животным ты пробирался в чаще забот!
Мудрость твоя еще не лежала в пыльном столе.
А колдовство смерти еще не знало,

что давно тебя ждет.

* * *

Бога нет, – я скажу,
Бога нет.

Ну и что? – я скажу,
ну и что.

Говори каждый день:
Бога нет.

Говори каждый день, говори.

Говори что-нибудь каждый день,
каждый день что-нибудь повторяй.

Говори каждый день: нет звезды.

Говори каждый день: нет морей.

Говори, говори, говори.

Повторяй, повторяй, повторяй.

И войдешь ты в неслыханный ритм.
И войдешь ты, войдешь ты, войдешь...

* * *

Слова не выходят из головы.
Море не выходит из берегов.
Листья нежнее самой травы.
Трава безупречней самих снегов.

С морем не будешь накоротке.
Но почему бы тебе им не быть?
На тысячапервом своем витке
ты захочешь морем прослыть.

Пусто-пусто в тебе как в раю.
На дне океана не нужен рассвет.
Кто-то как флейту душу твою
мастерит... Или нет?

* * *

Какая угроза жизни
встает из глубины ее;
какая угроза!
Текут стволы точеные.
Дождем невидимым своим
ты осенил их, боже,
и пригласил в вертеп разбойников.
Тиха задача, но так тиха,
что тишиной такой
ты перекрыл бы все вулканы.
Вошедший в это
никогда уже не повернет назад.
Слезами дождь меня укрыл,
как будто я родился мокрым-мокрым...

* * *

Монашенкою по двору прошла
тень эвкалипта голубого.
На ветку незаметно село слово.
Сто лет молчало с грацией посла.

* * *

Мне не окликнуть никак
то, что проходит.
Шаг за шагом себя
я отдаю природе.
Капля за каплей
уходит из меня
данное мне слово.
Только какое оно?
Семицветно и бестолково?
Я ухожу из себя,
как уходит глухонемой
из мира речи.
Плащ мировой меланхолии
оттягивает мои плечи.

* * *

О, бедный, бедный дом мой!
Здесь Бах и больше никого.
Но разве я бездомный?
Но разве я бездонный?
И жизнь пищу с кого?
Осколками богата
летит моя судьба.
В объятья Баха падать,
когда вокруг гульба...
Престранная обитель.
Ты прикорнул чуток.
Как некий небожитель,
нашедший свой чертог.

* * *

Это сила войти,
это сила уйти,
это сила стоять на пути.
Вместе с нею ты будешь невидимый дождь.
Ты укроешься в сердце, как в ночь.
Вне всего, что ты есть, ты не сможешь не быть.
Уплывая, не сможешь не плыть.
В этой силе стоять,
в этой силе лететь –
ты не сможешь, не сможешь не петь.

* * *

Принеси, принеси мне полночь
в лунном опереньи.
Пусть постоит она у меня на столе,
как цветок в кувшине.
Пусть постоит до утра,
сверкая драгоценным лунным диском.
Кто владеет сокровищем вечно?

* * *

Нипочему, ниотчего.
Я только вижу, что хочу.
Я только вижу, что хочу.
И трепеща не трепещу.

Во глубине сибирских вод
блуждает неть прилунных дев.
Незаколоченная дверь.
Неопустевшее окно.

А где-то медлит, медлит зверь.
И я блуждаю там, не здесь.
Меня никто не ждет вон там.
А здесь я тоже никакой.

Во глубине прилунных вод
творится нечто просто так.
Я паруса готов поднять.
Но невозможно кем-то быть.

* * *

Я помню – Тютчев бел. Я помню – Тютчев был.
Он как-то это всё нечаянно любил.
Той кромкою души, похожею на ель.
Вечно-зеленый бред, вечно-зеленый хмель.

Нечаянно войти. Нечаянно уйти.
Но где тот сноп огня, который был в пути?

* * *

Никто не станет говорить о сущем;
но только о крыле, его несущем,
но только о качелях без ума,
без остановок, без конца, без края...
И я, тоску и нежность презирая,
остановясь, вдруг обнаружу: тьма.
Тьма, тьма вокруг, во мне лишь солнце греет
и медленное тленье пламенеет.
В развалинах лежит вокзал надежд.
И плещется вода, не зная места.
И плавленно волхвует жизни тесто.
И мир людей – как скопище невежд.

* * *

Мы не будем стоять, мы не стоим у порога.
О, это звучит эклога.
Это звучит валторна.
Она много выше, много возвышенней
альпийского горна.
В горных ли мы высях?
Есть ли что-нибудь в наших мыслях?
Есть ли что-нибудь в наших мерцаńях?
В сиденьях в зданьях, в себяобузданьях?
Взнузданный ли ты конь или прореха у бога?
Поет эклога.
Поет валторна.
Она много возвышенней альпийского горна.
Поет кларнет витиеватый и благородный.
Чей ты сын единосущный и единоутробный?
Почему ты молчишь на такие простые,
такие тихие вопросы?
Выпадают на травы
столетия за столетиями, словно росы...

* * *

Плоскость зеркала непередаваемо пуста.
Медитацию сочиняет слепой.
Линия за линией проводим с тобой,
начиная не с головы, а с хвоста.

Кого нарисует вездесущий Бог,
когда я исчезну из границ этих лиц?
Когда я смиренно-смиреннейше ниц
растворюсь в основаньи гробов?

Медленно-медленно кто-то выходит из сна.
Или молниеносно, как граница эпох.
Кому-то покажется: выдох и вдох.
Кому-то: зима и весна.

* * *

В молитву уйти не всякий может.
Молитвенность зги тревожит.
Невесел летает кочет.
Пурга в небесах нас хочет.
Мой скрежет – не стан лебединый.
Не хлебом живы единим.
А чем еще живы – не знаем.
Друг друга пургою пугаем.
Пурженье едва ли бесследно.
Живи, моя радость, рассветно.
Я знаю, что путь твой без пятен.
Хоть бред наш все так же невнятен.
Ошибка ли то, что нас нету?
Так вышло – очнулись до свету?
О нет, мы еще не проснулись.
Мы брендим и трендим вдоль улиц.
Мы входим в слова, как в колодцы.
И тот, кто вошел, – не вернется.
Останься же ты, моя радость:
о снов внесловесная сладость!..

* * *

Несуществующих людей больше, чем существующих,
и об этом знают если не эти, то те.

Попробуй рассмотреть лица людей танцующих.

Попробуй уловить мерцание ангела в пустоте.

Шелест его крыл в тебя войдет без помехи,
если в тебе есть пространство для его невидимых дел.
Если ты готов простить его непозволительные,
нелюдские утешки.

Если твой внутренний страж ослепительно бел.

А что завтра? Завтра будет все тот же
тихий дождь и сырость.

Быть может утонет даже твоя роща в тумане.

Понаблюдай за тем, как снисходит на тебя
чья-то милость,

как оживает твоя тоска
в этом бьющем с небес фонтане.

* * *

Знаете, на чем все ловятся?
На красноречии.
Говорят: красноречивый человек,
красноречивый поэт,
красноречивый жест...
Но я заметил:
того, кто умеет слышать,
не обманет красноречие Моцарта.

* * *

Даниил Андреев. Роза мира.
Миры. Потусторонность.
Эгрегоры, логос Шаданакара...
Какие пространства открылись
в душе путника, запертого
в маленьком тюремном отсеке!
В ней поселились Лермонтов и Клингзор,
Бухенвальд и Зороастр,
слои Рая и слои Ада...
Какая клокочущая душа разверзлась
в тесной тюремной камере.
Расширив свой внутренний космос до невероятия,
Даниил Андреев решил поселить в нем всех нас,
забыв, что у каждого свои внутренние облака и моря,
своя душа со столь же абсолютными
и столь же почти беспредельными далями.

И лишь у меня одного нету далей в душе.
Вместо них передо мной –
беспредельность
темной чашечки с кофе.
Сейчас я волью ее в себя
медленными-медленными глотками.

* * *

Вокруг меня так много вещей,
а я ищу какую-то иную, другую вещь,
я все ищу ее и ищу,
покупая всё новые и новые вещи...
Вокруг меня так много книг,
а я устремляюсь мимо них точно так же,
как мимо вещей.
Как мимо людей, облаков, ощущений...
Я бегу мимо сонмов,
потому что встретить лицом к лицу
одну-единственную вещь –
для меня слишком, слишком, слишком...
Я бегу от единственности –
вещи, книги, человека...
Я боюсь этого бездонного резервуара.

* * *

«Кто на снегах возрастил Феокритовы
нежные розы?» –

Пушкина тихий экстаз нас с тобой посетил.

Мы взобрались на снега, как на умолкшие розы,
и мгновения вдруг остановили свой ход.

Пушкин и Феокрит, понимая друг друга без слова,
начали танец чертить по белоснежным полям.

Там, где делали круг, – возрастили бесслезные розы.
Там, где поворот, – уходили бесследно в снега.

Кто их сюда пригласил? Может быть, белые люди?
Может быть белый медведь весь этот сон сотворил?
Нет, не знает никто, отчего Феокрит сладкогласный
Пушкина зацепил грешной грека рукой.

Знаю я только еще, что эти снежные розы
Райнера Мария любил, странствуя по Руси.

И в Раронской долине, застигаемый смертью,
белой-белой ее, хмельно-снежной рукой,
он о розе сказал, что она – сон ничейный,
что она – сладкий сон под бесконечностью век.

Снег идет, снег идет: опаданье не дремлет.
Вот и спит он сейчас, вот и спит он сейчас.

Вот и спит он сейчас сном ничейным в долине,
а на могиле его розы сонно цветут.

Кто и что и зачем – Феокритовы розы и Пушкин
и вневременный Райнера,

утонувший в русских снегах...

Что о розе ни скажешь –

сочтут за бессмыслие рифмы...

Кто на земных на снегах розу души возрастил?

* * *

Когда ты хочешь стать собой,
то станешь кем-нибудь другим.
И если вдруг захочешь плыть,
то не заметишь, что живешь.
Прохожий ты или герой –
никто не сможет угадать.
Входя в воздушные слои,
ты целый день уже плывешь.
И если ты захочешь знать,
то не заметишь, как помрешь.
Взойди на гору или нет,
ты все равно не знаешь, что
она в тебе гора горой,
а ты не помнишь, почему
ты оказался в этот час
под синим небом у кого.
Очнувшись посреди вершин,
не угадаешь ты себя.

* * *

Когда я начинаю лист, то он конечно никакой.
Когда страницу я беру, она стремится в никуда.
Переворачиваю их, но сам не знаю, для чего.
Тем более решать – куда: непозволительнее всех.
Страница чистая лежит как снегом застланная ночь.
И нету в мире никого. И завиток чернильный – грех
Адама или же еще кого-то раньше всех начал.
Кто до греха нас замечал?

Кто нас венчал? Кто нас встречал?
И где был храм? И где порог?
Как чист был лист! И был он Бог.

* * *

Если я сплю-сплю-сплю-сплю,
то должен ж однажды проснуться?
Мир зачарованный спит,
дожидаясь меня.
Так дожидалась царевна
своего невозможного принца.
Так дожидается смерти
во дворе детвора.

* * *

Воде отда姆 земное.
Воздуху – небесное.
Себе же оставлю
бестелесное,
себе же оставлю
непредставимое,
неуловимое,
неуязвимое.
Глупое себе оставлю, глупое.

Никакое оставлю,
никакое: ни зубое, ни беззубое.
Летит моя лодка меж скал
быть может воздушных,
быть может послушных.
Нет, я не устал:
я просто оставил
всех блажных и скучных.
Я просто однажды восстал.

* * *

Если ты назвал что-то храмом,
то это уже не храм; храмом становится иное место.
И ты попробуй отыскать его,
но остегайся произносить реченье.
И если ты назвал женщину любимой,
то пусть она знает, что ты ее уже не любишь,
ибо названная любовь – уже не любовь,
а кимвал бренчаций.
Вот почему в мире так много предательств.

* * *

Я дам тебе лунного голубя.
А может быть юного Гарпия.
Иль вытачу юношу голого
и дам ему имя Моцартия.

И лунные пальцы протянутся
во мраке печального облака.
И области сна безначального
прольются как звездные волосы.

Какая печальная линия.
Гудки паровозные ссорятся.
И волосы мокрые, синие
бродяжат, волхвуя бессонницу.

Волхвы приходили, но праздные.
Волхвы проходили, но мимо всё.
И лунные пальцы прекрасные
напрасно над крышей толпились.

Я лунного голубя выращу,
не буду бессмысленным сонею.
И как идиот – кататонию,
полнеба за бороду вытащу.

ГОРОД В ДЕРЕВНЕ

1

В травах лежу.
Любуюсь долиной.
Вот так бы жизнь провести.

2

Перейдя перевал, бреду по высоченным травам.
Вот и тропинка исчезла.
Слышу, как где-то неподалеку дышит медведь,
за мной наблюдая.

3

Рак, заметив, что я тихо на камне сижу,
выплыл и в солнечном свете
подал мне обе клешни.

4

«Ничегошеньки нет в моем доме – только прохлада
и душевный покой», – сказал Исса.
Боже ж ты мой! В доме моем столько вещей!

5

Я за улиткой следил наверное минут сорок.
Кто его знает, сколько эонов
она между тем прожила.

6

Кто-то из древних японцев заметил улитку на склоне.
И с тех пор она всё ползёт...
Наверно, уже в облаках.

7

Под корнями громадной ольхи
ключ течет с ледяною водой.
Почему здесь лягушка живет?

8

Я дачу снимал. В обширном дворе
общался с семейством.
Вернулся домой.
Уже второй месяц вспоминаю овчарку.

9

Чего *не может быть*, так это вот – тебя.
Но всё твердит о том, что ты случился.
Дождь бьет в стекло, и мокнет, мокнет небо.
И плавают старинные галоши.

10

Молчанием ты не спасешь вселенной.
Однако ты спасешь само молчанье.

11

Если уж бормотанье ручья
ничего тебе не говорит,
то тогда ты мертвее этого каменного валуна,

поросшего бархатистым зеленоватым мохом,
внимательно слушающего речи ручья.

12

Восточный ветер
разметал эти сосны
по высокому склону,
поворнув их в сторону
моего неведомого мне детства.

13

Лунная ночь в горах.
Не шелохнется листок.
Звездочки бледны как смерть.
Сосны молчат и молчат.
Кажется, вышел я вдруг
на планету не ту.
И телесность моя
исчезает как сон.

* * *

Очнись!

Вот чашка на столе,
вот оконный переплет,
вот горшок, а в нем цветок...
Они кланяются
и приветствуют тебя.
Взгляни в лица послов.

* * *

*Лавине нужен выстрел, крик...
Из рецензии*

Мы движемся вместе, мы движемся вместе
в тишейшей долине,
где даже и шепот – как крик на известной картине.
Быть может я крикну однажды, быть может я крикну.
Но что я окликну, скажи мне, мой критик,
но что я окликну?
Ведь мы окликаем друг в друге
колодцы невидимой жажды.
Но кто напоит нас, мой критик,
мой критик отважный?
Я только улитка на склоне, я божья улитка.
Так зыбко мне в мире, так зыбко мне в доме,
так зыбко.
Я тихо ползу, но все кажется мне: я летаю.
И я не кричу, я пою – для камней и для трав,
чьи мгновенья листаю.
Залистана книга, божественный том,
на взгорбленном склоне.
Со мною не хочет мой критик улиткою быть:
он в ужасе стонет.
А я хохочу. Я улитка, простая улитка.
Не зябко мне в мире, не зябко мне в мире, но зыбко.
Я только улитка и вместе я божья улыбка.
Танцую я танец, танцую я танец, я – скрипка.
А тот, кто не слышит, а тот, кто не слышит, –
ну что же,
он, видимо, спустится с крыши к нам глубже –
когда-нибудь позже.

* * *

Голову я оторву стене,
когда она отчаянье возьмет в объятья.
Повернись, повернись вовне,
выйди из своего платья.
Плачет дождь, отмеченный в календарях
давно уснувших эпох.
Эпохальность языка увлекает меня на дно.
Я не знаю точно, у кого мы в гостях,
кто подносит нам пищу, наливает вино.
Как в мутном сне картинки циферблатно стучат.
А из дома мы выходим лишь по великой нужде.
К черту дальние страны и озеро Чад,
принуждающие меня ко все той же мертвой волшбе.
Я сегодня уйду в эпоху своего собственного дождя:
он будет идти по скрижалим моих собственных рук.
И по грязи проселков меж сосен бредя,
я заговорю вдруг не шепотком, а вслух.
Горе бредить самим собой,
горюю стоять на своем пути.
Войти в меня может вечер любой,
и веер облаков, и меж мирами голубой гобой.
Лишь звездный шорох не осмеливается в меня войти.

* * *

Еще одна кончается тетрадь...
Юрий Седов

Еще одна кончается тетрадь...
И ты вокруг нее пытаешься кружить.
Оставь ее, зря сил не трать.
Она и без тебя сумеет жить.

Тетради брось, забрось весь этот хлам.
Чть он тебе, когда еще ты есть.
Ты светишься как чудо, весь ты – здесь,
ты как корабль, несомый по волнам.

Тетради – пустота, пустейший вздох.
Многозначительность пустот.
Там пыль, там грязь, там горы нечистот,
там кто-то выдохся, там кто-то сдох.

Кончается тетрадь – не ты, заметь.
Ты движешься, от строчек отделен
той самой зрелостью, которой зреть
тебе придется после всех времен.

* * *

Ты говоришь мне: сядь и напиши Книгу,
зачем тебе крохоборческие комментарии
к тому и сему,
ко всем бесконечным частям
чужих суждений о мире;
возьми быка за рога и опиши свой собственный мир,
грохочущий в тебе подобно небесной сфере
или тишайше дремлющий
наподобие тумана в долине.

Так ты мне говоришь, призываю сообщить нечто,
что не будет общим местом, а будет местом частным,
словно усадьба, простоявшая

за высокой стеною несколько столетий...
Я слушаю, слушаю тебя и думаю о Книге,
в которой мы с тобой сидим,
словно за высоченной каменной стеною,
высунув головы даже не из пространства
меж страниц запыленных...
а из пространства меж двух громадных буквниц,
которые нам никогда не понять хотя бы уже потому,
что никогда во весь рост не увидеть...

* * *

Много здесь тех, кто кричит:
я поэт, я поэт.
Ты ж догадайся, кто здесь
из живущих – поэт.
Он уж конечно не скажет:
я, дескать, поэт.
Молча пройдет, промолчит
и посмотрит лишь вдаль.
Либо рассматривать станет
дощатый сарай.
Либо увидишь,
как тихо завис в облаках.
Либо услышишь,
как дышит неслышимо грудь.
Либо во взгляде утонешь,
как будто он зверь.

* * *

Вечность еще не пришла,
но она непременно наступит.
Где-то во мне она ждет,
дайте только дойти.
Ласковый день занеможет,
если его не заметить.
Но петухи пропоют,
даже если нас нет.
Непостоянство пути –
это глупые песни.
Я в долине стою
между двух шумных рек.
Почему и зачем –
пропадают в тумане
стай ласковых птиц:
из меня, из меня.

* * *

В этих лесах слишком много тропинок,
слишком много каскадов, фонтанов,
статуй, журчащих аллей и экстазов...
Слишком много всего в этих лесах.
Слишком много блестящих сравнений,
как молния вздохов, загадочных мыслей,
сдвиженья метафор, искристых аллюзий,
созвучий бесчисленно-смелых...
Куда там Рембо и иным безумным тихоням.
В ваших лесах переполнено всё
клокотанием смыслов,
которым нет места в пейзаже моем.
В моем пейзаже нет ни единой тропинки.
В лесу, который я знаю, если кто и пройдет,
то его буреломное пене́ье мигом трава закрывает,
взмывая до самого неба.

* * *

Горе, горе! Как будто душа моя мимо проходит...
А я сижу в стороне, на глухой чужбине,
сижу, забившись в угол, боясь коснуться света.
Как будто сижу зачумленный,
как будто весь охваченный своим телом,
боясь коснуться души, мимо тихо идущей,
боясь узнать, что моя душа существует тоже.
О обезьяний царь! Пляши на дереве свой танец!
Из моего мрака я ничего не вижу кроме чуда света.
Но какая странная эта планида:

быть все время нищим
и упускать царственные мгновенья касаний.

Какая царственная это земля:

прикоснение глаз, тебя узнавших.
О, узнан ли кто в этом полумертвом
жизненном полумраке?

* * *

Каждое мгновение может стать последним.
И это не бредни, совсем не бредни.
Веская сила входит в меня как дождик летний
и омывает мой мозг, как будто я зверь в берлоге,
забывший что-то: самое важное на этом свете...
И это что-то нам никогда-никогда не вспомнить.
Даже если перелистать всей жизни пухлый томик.
О бедный-бедный не Йорик: зверь-далтоник!
Самое важное – быть может, цвет особый,
не магнитно-алый и не биирюзовый,
в котором как в сейфе заперты
твои высочайшие, наисладчайшие зовы.

* * *

Мое внутреннее течение неостановимо.
Я вхожу в его воды, и они охватывают меня так,
будто я и есть это теченье,
сквозящее над Сыростанскими холмами
бесконечными облачными островами,
бессмысленно ткущими свою величавую песню.
Эта песня так же прочна и поднебесна,
как эти Сыростанские горы,
где, мне кажется, мог бы быть похоронен
и отшельник из Дуини: Сыростанская долина
так похожа на долину в Рароне,
где спит поэт под своей каменной розой.
И это лишний раз доказывает,
сколь внепространственна местность:
волшебные места обнаруживают себя
внезапно и необъяснимо.
Вот так же волшебно и мое внутреннее течение,
если бы я сумел до него добраться.
В нем такое же фантастическое сочетанье:
всё течет и всё величественно неподвижно,
так что никогда не знаешь, озеро ли это перед тобой
или речка.
Ясно, что ты вошел в свое теченье,
и оно очень похоже на облака,

когда лежишь на склоне холма
или плывешь по озеру и неотрывно
в небо смотришь.
Кажется в эти минуты, что это и есть
само бессмертье
и что ты сам вот-вот в него войдешь без остатка
или мгновенно в него превратишься.
И в эти мгновенья ты совсем-совсем не знаешь:
течение ты или неподвижность,
озеро насквозь мирское, хотя и без дна,
или серебристая сакральная речка.

Цапля

Белая как сугроб
одинокая как тростинка
на морозном ветру
она наблюдает нечто –
неведомое нам
состояние Вселенной.

Юность

Во что ты веруешь, ты сам еще не знаешь...
В магичность древнюю, вершащуюся днесь,
где твой простой напев – благая весть,
которую как родину спасаешь.

Во что ты веруешь, ты сам еще не знаешь.
Ты задыхаешься над ритмом и строкой,
в которых шум дождя, зарницы над рекой
и дрожь огней в ночи, которые листаешь...

Во что ты веруешь, ты сам еще не знаешь.
Ведомый зовами, ты следуешь всему,
не ведая зачем таскаешь, как суму,
простор и сердце, по которым изнываешь.

Поэт

Слова захвачаны, как облако глазами...
Но глаз не оторвать, и я уже не с вами,
лежащие во тьме леса...
Как мчится облачная пряжа в небеса!
Какою новизной сверкает постоянной –
неуловимой, сочной, неустанной!
Но долго ль простояишь, подняв глаза?
И долго ль Баха выдержишь признанья?
Их чистое, надмирное дыханье?..
Как трудно высоко смотреть и видеть.
И как легко потом возненавидеть
грязь на обочине и дряхлый клекот кур
и слов натруженных истертый коленкор...
Как трудно, голову подняв
к их ветхости предвечной,
увидеть свет в ночи –
ознобный, быстрый, млечный...

* * *

Меч рассекает меня надвое.
Но зачем, если жизнь у меня одна.
Разбиться вдребезги осколками
и отразиться в тысяче зеркал?
О ловчий? Кто ты?
Кто меч метнул в меня,
когда я был глухонемым,
косноязычным ветром?
Вепрь на меня во мне
разгон берет.
Никто не знает, что нам делать
с прошлым. Так защемит,
что унесет потоком
и не узнаешь, был ли ты вообще.
Как тосковать о том, что было, было?
Неповторим мой опустевший дом.

* * *

Донно, забвенно и донно...
Базальтовый гребень волн.
Ко мне сокрушенно, мадонна,
приплыл твой израненный челн.
И ветхость мою он заметил,
заметил морщинистость век.
И что-то подуло – не ветер.
И что-то упало – не снег.
Понять это нам невозможно.
Быть может лишь только – принять.
Витийство о сложностях – ложно.
Не ложно – тонуть и сиять.
И слышать лишь то, что не слышал
ты может быть тысячу лет.
Ты дна вдруг коснулся и вышел,
увидев не след и не свет...

* * *

Блаженства не будет никогда,
кроме как в этот миг.
На тебя падает звезда!
Оторвись от книг.

Имена послов

* * *

Ты не узнаешь никогда того,
кто серебрит твои сыпучие ладони,
тончайшим бисером взбивает неба посох
и суковатую тропу в круги уводит.
И льстивые причуды речи важной,
похожие на чрево Мандельштама
иль Бенна откровенную изнанку,
не возгласят какого-то прорыва.
Ты трещин не создаешь в укромном мире,
дрожащем от блужданий поперечных.
А впрочем, это кажется, что странных.
На самом деле... Что на самом деле?
На самом деле ты сидишь у локтя
простого дерева у речки тонкой
и тихо поглощаешь сигареты
печальных бронхов и веселых легких.
И серебристым, изжелта, наплывом
окутывает кто-то зиму мысли
и в синеву уводит нимб спасенья,
похожий вновь на ящерицу мнений.
Глаголы улеглись толпою пьяной.
И сам ты кажешься себе пьянчужкой,
в котором перепутались желанья,
укорененные в полете шмеля.
Вот лодка вышла из-за поворота...
А между тем спит в речке отраженье,
взлохмаченное всполохами теней.
Где мысли их? Где очертанья страсти?..

* * *

Ты не сможешь мне память свою подарить.
Неизвестность останется темной тоскою,
безупречной как меч самурая,
как вопль над рекою
звездной ночью, когда собирались хоронить

басурманного лоцмана травные боги
в деревеньке безвестной на крае земли.
Центр придумал не я, но — цари, короли.
Мы ж с тобой, слава богу, убоги,

прилегаемы с краю к бескровию дней.
Мы тихонько плывем, замечая по-птичьи
широку этих мест и теченья величье,
припадая к воде с каждым разом сильней.

Память ты склонила, как будто немая
протекает в тебе сновидений река.
По лицу как по озеру облака
незаметно текут, чуть дыша, принимая

все извины причудливой страсти твоей.
Только знаешь ль сама ты, певунья, об этом?
Разбираться в пустотах пристало поэтам,
но тебе с каждым годом грустней и грустней

собирать этот странный порывистый дождь
и вдыхать аромат его детского плача.
А в саду между тем спит в траве Купидон,
ничего для пространства не знача.

* * *

Немного кислых щей, вареная подметка —
вот всё, что мы оставим на потом.
И жесткий дождь прольет себя бродяжкой-щеткой,
и ветви изольют пространству свой чарльстон.

Экранная судьба — не думать, но томиться
и взять да умереть, ни грана не устав.
Какая канитель — струить сквозь маски лица.
Какой не соразмерный горьким дням устав.

Устать! Устать до сизого горенья,
до выступа солей на вервии хребтов.
Не повторит никто предельного волненья.
Не вознесет никто в тебе твоих мостов.

* * *

Мой водоем пустынно в травах спит.
Вода прозрачна как не знаю что.
Всё хочется сказать: как божество.
Сияют астры и пионы.
И весь мой сад пронизан светом тихим утра,
благословлен неведомо когда и кем.
Ах нет: благословлен сейчас,
когда нет времени в моем саду.
Все движется, но тихо-тихо так.
И возвращается в себя, в себя...
Невидимы круги благословлений.
Утраты есть, но — в памяти людей.
Вода прозрачна. Это точно божество.
Я умолкаю возле водоема.
Мой пруд завис в пространстве как купель
неведомого будущего шага.

* * *

Я не знаю, зачем умирает закат
и гитарные спят переборы.
Миг вниманья скользит, желторот и несвят.
Скрывшись в полночи, странствуют горы.

Голубая меня не касается стынь.
Всё уходит, страшась пониманья.
Я качаюсь меж голых межзвездных пустынь,
молча слушая тьмы нарастанье.

* * *

Словно пятое небо, приоткрывается полночь.
Остекленевшая природа шепчет в отчаянии: отвори!
Но кто я такой, чтобы приходить на помощь.
Грудой иллюзий наваливаются фонари.

Немецкая мысль открывается венским танцем,
патефоном в созвездиях Рильке и другой чепухой.
Я хотел бы бродить в древней Праге
немым оборванцем,
на рассвете сливая с отчаяньем вечный покой.

Черный сон отойдет, применяя невинную хитрость,
будто это не он сотворил нашу черную речь.
Открывается день, начинается белая хилость,
и едва ли сумею мятежное пламя сберечь.

* * *

Кем был ты – о том не узнает из живших никто.
Укрыт ты, укрыт ты в такое сквозное,
в такое сквозное пальто,
что даже скворченья и шорохи не отзовутся вовне.
Кто думает, думает только о тонкой струне,
прошедшей сквозь спину и дальше –
сквозь нервы волны,
идущей на нас, на сквозную печаль твою
с той стороны.

Ты бережно пальцы кладешь на гранита скалу,
на бархат руки, на безводную втору веслу,
когда мы плывем с тобой в зыбком ковчеге времен.
Но кто ты? Не знаю я – отпрыск кочевых племен,
блуждающих в этом зыбучем истлении песка.
Но кто ты – кто даст мне ответы:

безумие танца, закатные ветры, сквозная река?
Я в шорох вхожу, будто я неприметный жучок,
песчинка лукавая, сена взгорбаченный стог.
И мысли текут как распад внутриатомных тел,
и Моцарт взлохмачен, всем кажется – он опустел,
когда не пришел на последний посмертный концерт.
Но с братьями лежа в обнимку,

он был удивительно цел,

сползая к основе своей – неизвестной кому?
Я шорохи музыки слышу, готовый поверить всему,
что мне отдает моя муз в предлунном бреду.
Что проку, что здесь я –
весьма я как древесность бреду.
Растительно точно такой же как капельность стен.
Лишь некая малая странность:
взрываются кончики вен
догадкой, догадкой, догадкой – вот-вот ухвачу.
А утром, проснувшись безродным,
над снами опять хохочу.

* * *

Голос, согретый-нагретый неведомым солнцем.
Здесь, сквозь неведомость щели, проходит тоска.
Сонмы предметов: компас

и картофельный стронций,
вбитая в баньку скоба и густая река –
медленно погибают за синей водою,
но этого нам никогда не увидеть

за волшебством перемен.

Утро сменяется вдруг странных невстреч пустотою.
Вечер приходит холодной росою измен.
В изнеможеньи падёт рать восточных игрушек:
фантиков, одуванчиков, солнечных зайчиков, фей.
Ночью войдет в твою память

колдующий танец пастушек.
Неотразимо схоронит наутро твой образ
воркующий котофей.

* * *

Я так задымлён этой патиной дымчатых лет,
что кажется мне самому, что пропал тот мой след,
которым ступала нога без малейших подков,
а сам я не слышал знамений, тем более –
вещих звонков:
со всех концов света и тьмы; то был лунный концерт,
причастный долинам и далям, вошедшим в конверт,
который в итоге лежит на каком-то столе,
и возится кто-то у печки: лохматый, в смоле и в золе.

Как много просчитано слов и веселых затей.
А кажется кто-то рассыпал условия спора
из малых детей.
Подростки блефуют и врут, чтобы выйти в свой рост.
И старцы угрюмо молчат, обнаружив откос.
О племя молчащих, податели знаков простых.
У них бы изведать, почем и откуда
истлевший их стих.
По ним бы проехать всей мощью старинных страстей.
Они б рассказали, зачем это солнце
из лунных костей.

* * *

Сколько слов накурлычено нежностью сердца.
Безответная масса фонем пятеричных.
Незакрытых от гула, от шума отличных.
Словно месса коней несогбенных несется.

Это время рождает какую-то сому,
неиспитую нежным влагалищем ада.
Так индейцы врачают молитвами солнце.
Этим трубам поющим расчетов не надо.

Это глыбы воздушные падают в море.
Словно глыбы межзвездные льда пролетают.
Это тихо волхвы свои книги листают,
на невидимых жестах бесследных историй

с сотворяя не призмы, а шорох признаний.
Отчего же никто свою сому не выпил?
Отчего нас влечет в гулкий подпол изгнаний?
И прощание с ближним – просвет, а не жупел?

* * *

Мир, осторожней которого нет, – где ты, скажи?
Медленно падает в пропасть чуть вставший рассвет.
Путь в Катманду начинается с маленькой лжи.
Осень выходит навстречу потоками лет.

Верь мне, ненужный мой друг, эта бездна не в нас:
кто-то войдет и откроет ту дверь невзначай.
Медленно входит как зверь осторожный наш час.
Эти пространства в замедленном ритме встречай.

Чай этот выпит не будет, наверно, нигде.
Впрочем, откуда известно: ведь чудо как сон.
Чашка стоит на столе будто небо в воде.
И преклоняет колени пред нею взлохмаченный слон.

Пой, моя девочка, песню до самой зари.
Медленно-медленно всходят посевы во мгле.
Голосом неизреченным мой мозг озари.
И раствори мою память в алмазной веселой золе.

* * *

Ночь наполняет карту дня каким-то сном иль бредом.
Струятся слезы по стволу ольхи, проросшей
детства малый косогор,
тонюсенький ручей и дальше,
много дальше уходящей
в пески невыносимой красоты.
Восторг бросает нас в невыносимость смысла,
его нездешней монотонности, когда
нам невозможно смысл представить здешним
настолько нам бессмыслица мила
как отраженье нас самих в движеньи.
Мы связаны бессмыслицей друг с другом,
а смыслы каждый раз нас тащат врозь
и пониманье ложное готовят,
подобное условиям азарта —
пустая трата гневных клеток крови.
А впрочем, ночи (чувств ее и плоти)
мы так давно не знаем.
По отражениям дневным лишь судим
и грезим, опираясь на концы
оборванных веревок, хрупких струн,
замедленно звенящих в отдаленны.
Кто хочет, может выпрыгнуть в окно:
там замер звук, как вербная соната.

Красотка мысль едва ли примет нас.
Нам все равно уснуть под водостоком,
под пьяною стеною в поздний час,
когда от дальнего погоста слышен хохот
и перебор гитары шестиструнной,
играющей какой-то томный блюз,
а может даже футу Сарасате.

31.07.1999

* * *

27.07.1999

* * *

«Кем был я в предыдущем воплощеньи?»
Ах, милый мой, ты тем же самым был.
Ты так же неустойчиво любил
и так же не умел ловить мгновенье,
отброшенное вечности рукой.
Ты так же спал, не замечая сути,
сквозящей сквозь тщету бессчетных слов,
и так же плыл доверчиво к минуте,
где только что сгорело сто мостов.

* * *

Ни то, ни это – есть одно окно.
В него мы погружаемся давно,
ни мглу не чувствуя как мглу, ни грани света.
Уходит снег меж рук, как дым огней.
Что сгинуло – является стройней,
хотя никто не ждет от нас ответа.

По сторонам смотри хоть сотню лет,
увидишь только тьму, сильнее нет
мерцаний и свечений млечных мрака.
Распахана эпоха словно прах.
И нету у нее на вечность прав.
Но даль мгновения сильнее даже страха.

Не может быть того, что точно есть.
И этих невозможностей не счесть.
И я бегу за жаром сини, что есть мочи.
Громада несвершившихся измен
ликует, разрывая плёнку стен.
И это первый гром всептичей ночи.

* * *

Пыль шепчет мертвому: умри.¹
Живому: помни обо мне.
Пути расходятся у всех.
И не проходят холода.

Немногословнее, чем мы,
пожалуй нет на всей Земле.
Не потому, что мы с тобой
омрачены, а просто так.

Словарь известен от зари.
А вечером — иная степь.
Держась за прежние слова,
ты улыбаешься во тьме.

Пыль дремлет на путьях ничьих.
А нам достаточно камней,
чтоб реку перейти не вброд.
А впрочем, что там за рекой?

Ревут печальные огни.
Но нам услышать их не впрок.
Пыль осыпается с комет.
Мы в глубину уходим зим.

¹ Навеяно строкой П.Хукеля: «Помни обо мне —
шепчет пыль».

* * *

Ночь отрицает себя блеском горы.
Даль отрицает себя близостью звезд.
Если смотреть из глубокой и черной норы,
звезды окажутся россыпью капельных рос.

Маленький демон утрат, склонившись до утра.
Кто здесь не вечен, пускай отойдет от греха.
Карта заслуженной кары пустынно пестра.
В горных дремучих лесах затерялась строка.

* * *

Я оставлю тебя, ты придешь и не будет тоски.
Укротители звезд нам с тобою совсем не близки.
Мы укроемся тенью свисающих с дыма волос.
Так оставь эти нити, ведущие к паперти звезд.

Нет ни звезд, ни одежд, это всё напридумал Сократ
или кто-то из тех, кто был первым кто был виноват.
Нет потенций и споров, латентные есть старики.
Посмотри, как их руки от смыслов твоих далеки.

Посмотри, как на дне шевелится укромная ночь,
заплетая в немыслимый узел, стремясь уволочь
всё, что ты уже прожил как будто, как будто унес.
Но на самом-то деле ты дня шелудивейший пес,

уносящий в зубах не скрижаль, а скрипящую кость
тихих этих окраин, где, кажется, и не сбылось
миллионноосиное эхо озвученных рек.

Потому-то и есть только это:

летеющий полуночный снег.

* * *

Я охвачен цветеньем снегов, этим ритмом
блуждающим сада.
Этим мороком дней я распахан
до паха последнего ада.
Я лечу над землей, простирая неслышимо крылья.
Умирая не от нужды – от хмелящей тоски изобиля.
От избытков моих я не знаю куда же мне скрыться.
А снег мартовский мечется,
тысячью ликов пронзая, искрится.
Мне не скрыться от вас, мои лики, мгновенные лики.
Остаются лишь нимбы на стенах
да крошево базилики.
А в круженье войдешь – будь готов,
что войдешь и в земное крушенье.
Для чего и зачем – этих снежных длиннот
беспричинное слезное жженье?

* * *

Горек хлеб, выбираемый каждым из нас.
Упоителен сна чуть заснеженный час.
Кто крадется вон там за ближайшей чертой?
Упоителен страх, упоителен строй.

Упоителен строй ненаписанных книг
и ресниц, дрожи коих никто не застиг.
Будем здесь почивать, будем здесь горевать.
Горемычное горло свое пропивать.

Устроители так же бедны, как и мы.
Доживем до утра, долетим до зимы.
Разровняем овраги, уснем в ковылях.
Будем вечно висеть на продутых ветвях.

* * *

В комнате кто-то был до того, как туда я вошел.
Можно ли долго плыть, если нет никого вокруг?
Я – серебристая нить, шар моих мыслей – желт.
Может ли постучать в двери мои испуг?

Нет никого вовне, если насквозь молчу.
Замертво упадет тот лишь, чья жизнь – строка.
Горе мое – во мне, я за него плачу.
Море уже ушло, но возвратилась река.

* * *

Нет причин ошибаться тому, кто еще не пришел.
Мелкий дождик укрыл механизм постоянства разлук.
Помолчи, если можешь, пусть млечно
восстанет глагол
в беспричинных местах, где без стада гуляет пастух.

Осень лучшее время для тех, кто готов поступить
в обученье не снам, но готовой прорваться листву.
Если долго не видеть, то может привидеться нить,
по которой придешь к изначальной своей наготе.

Мелкий страх потерять
освященный преданьями мир
отпусти насовсем, пусть он плавает рядом с тобой.
Никому не известен твой дремлющий, бешеный миф.
Он к тебе продирается горной опасной тропой.

* * *

Жук пробирается
между отрогами
упавших в грязь бусин.
Желтая-желтая ночь.
Крупный дождь барабанит
по панцирю кожи.
Невозможность проснуться.

* * *

Мы падаем в море —
то ты, то я,
но крыльев не замочив.
Мы падаем вверх,
мы падаем вверх —
звучит однозвучный мотив.
А если однажды не упадем,
то значит останемся в нем.
Спасут нас мечом и огнем.
Спасут нас мечом и огнем.

* * *

Озвученно я трогал здесь кусты,
где медленное солнце холодело.
Оно меня замучено хотело,
бросая в дрожь, чьи смыслы так просты.

Внезапно время забывает нас,
бросает с ходу в пропасть эту ношу.
И всё, что есть здесь, я внезапно брошу,
забывши блеск прекрасных солнца глаз.

* * *

Уходит жизнь... Куда? Зачем?
Уходит жизнь.
Не насовсем?
А если насовсем, то кто
ее ухватит на задворках,
ее ухватит на закорках
за бестелесное пальто?
За ускользающее за
кто не вернет тебе глаза
кто не зайдет к тебе однажды
не разделить с тобой восторг
ущедший весь в кошмарный торг
с вселенской нежностью и жаждой?

* * *

Наши жизни — имена послов
от неизвестного царства — к неизвестному.
Музыка свершается вне слов,
музыка — сдвижение основ,
моление духа богу телесному.

Шепчутся послы по всем углам
растянутой неотклонимой древесности,
делят тщету шептания судьбометрически пополам,
натягивая струны снов на колки небесных лам,
не знающих языка посольской местности.

* * *

Я ничего не умею сказать.
Просто так входит в меня
царство ночного костра.
Дочери брошенной стон
не достигнет ментальных вершин.
Не заметит погоня того,
кто давно под неведомым спит.

* * *

Тот кто не знает тоски,
не увидит великую стену.
Истина пахнет лимоном,
похожа на желтый цитрин.
Остановка — громадина молний.
Отдохнешь — когда выветрит ветер.
Попрощайся с убежищем ласки.
Неизменно внимание вершин.

* * *

Прыгнув, взлохматился век
в море маркиза де Сада.
Тот, кто охоч до планет,
медленно вышел во двор.
Медленно зреют кусты
ароматом туманного неба.
Медленно дышит земля
запахом знойной мочи.
Горло охвачено медью,
звенят голубые гитары.
Красные вопли пустыни
в сердце ночное стучат.

* * *

Молнией птица влетела в окно.
Как ей не хочется в табор страницы.
Где бы могли бы мы с ней поселиться.
Впрочем, ну что ей влетевшой в окно
это пространство ничтожное крыши,
где только тени уснувшие дышат,
а остальное – в страницах давно.

Всё упаковано в табор страниц.
Нет ничего, что бы мы понимали.
Машем крылами, как горем ресниц,
в окна влетаем, как в дальние дали.
В окна надежд и кругов на эмали.
В старые песни, как в проруби лиц.

* * *

Текст вводит в одичание души.
Не той, которой родина не здесь.
А той, которой имя — дымка, взвесь
тоски и горечи, всепосвященной лжи.

А ложь — конечно всё, что входит в круг,
что кружится в дурмане и в мечте,
напоминая нам о колючей черте,
рвануть куда слабо и недосуг.

И, в тексте погребенный, ты не спиши,
за нити тянет призрачный паук.
Он мысль твою сосет, терзает слух.
А возопиши: он думает — ты льстишь.

Ну а черта не ведает стыда.
И на черта черте веселый стыд?
Ей кажется, что ты с пространством квит.
А ты всё ждешь: вдруг знак подаст — «айди!»

Служенье муз не терпит суэты.
Но кто проник за суэту времен?
Кто вызволен, спасен и обелен
за то одно, что не сжигал мосты?

* * *

Но если пенье не войдет, то что тогда?
Кто возмутится приговором черных крыш?
Угаснет полночь — бледная слюда,
и ты уж никого не навестишь.
Пребудет тиши, подпочвенная тиши.

Кому-то кажется — мы звон реки.
А мы на самом деле ни при чем.
Мы вниз бредем до бреда и тоски,
отделены от снов надпочвенным дождем.
Он проникает в нас, хоть мы его не ждем.

Грань просыпается огранкой неспроста.
Хламиду дней волной не назовешь.
Огонь небес читает нас с листа,
и тлен ползет, и манит медный грош.
И меч пронзит тебя, хоть ты уже поешь.

* * *

Что хочешь сделать — сделай поскорей.
Пособирай несобранных вещей.
Запомни незапомненную старь.
Восславь несуществующий фонарь.
Волненье сбереги и млечность век
и чистый, как алмаз, волшебный снег.
Задумчиво восплачем вчетвером
о трезвости вчерашних похорон.
И в медленные сумерки войдем,
укрытые дождем, так входят в дом.
Войдем в его дожизненный экстаз,
где ждут уж не дождутся сирых нас.
По сирости Земли бредем в пыли,
не замечая пламени земли.
Не замечая огненных шаров,
в крови расплавленных невидимых миров.
И медленно она прощает нас,
шепча неслышимо заснеженный рассказ.

* * *

Я попытаюсь что-то написать тебе вдогонку.
Фрагмент то ли мелодрамы, то ли ожившей памяти,
то ли экстаза, который бывает жарким летом
на дальнем озере в богом забытом крае.

Райских сосен настой меня зажарит живьем
в гусеницу, а потом в куколку, а потом в летунью...
А потом стану рыбой, сверкающей крыльями ног,
подобных ногам Одиссея

или какого-нибудь там Алкиноя.

Не все ли равно? Кто сотворил наших тел
хищную повадку
лететь вниз головой в лиkующий зонт неба?

Мы еще называем это знанье.

Глупостью это еще можно назвать
или пустым гаданьем.

Когда за горизонт кто-то смотрит и смотрит,
думая, что вот-вот выплынет Золотая Рыбка.

Всё, что я об Одиссее знаю, это то, что он –
сплошное движенье; этакий хитрец, словно ручей
ускальзывающий и скользящий.

О, мне совсем нетрудно тебе признаться:
фрагмент экстаза невозможно запереть в конверте,
особенно когда сидишь на берегу

пустынного озера в богом забытом крае

и посылаешь посланья всем богам вперемешку:
авось, дурни этакие, разберутся.

Что еще может человек, ставший рыбой
и совсем, увы, не похожий на своего праотца Одиссея
или какого-нибудь там Переплута.

* * *

Кто волен – не вольнее нас с тобой.
Кто болен – не больнее нас с тобой.
Тем более что боли нет другой,
чем слышать, как бессмыслен здесь прибой.
Тем более, что все, что можем, — быть.
И воли нет иной, чем просто плыть.
Увидишь, скоро опадет листва.
Листва словес, и век закончит тлеть.
И кто-то начертает слово «смерть»
на небе наших тусклых фонарей.
И похоронят праздных звонарей.
«Ах, дудочка моя!» — то дуралей
какой-нибудь отыщется во мгле,
и ты его увидишь как в стекле.
И ты его услышишь — рокот вод!
И я волью в пространства дивный рот
всю музыку его бездомных лет,
и ты поймешь, что нас бездонней нет.
И ты поймешь, что воли нет пустей,
чем волховать по поводу вестей.
И всё пройдет, и перезреет зрак.
И новый век войдет — и сир, и наг.

12.12. 1999

Иерусалимский тропарь

* * *

Еще не все ушло за горизонт.
И горе снов еще не всё ушло.
И этот ловчий – нищий птицелов –
нет, не всего еще поймал тебя в улов.

О баснословная картечь; туман
прорвешь ты всем напором сонных звезд,
ханыжных пасынков, давно тебе не в рост,
волчиц расхристанных, в чьем алтаре – обман.

И звездопадная обрушится беда,
и хлынет между млеком жизни – дождь,
когда ты весь обрушишься, когда
ты вломишься, ворвешься – не войдешь.

Безосновательна материя границ.
Их вовсе нет, их нет, их нет, их нет,
как нет границ всех промелькнувших лет,
как нет тенет, как нет у близи лиц,

у дали – облика, у страха нет ключей
к тому, что есть; мы заперлись на страх.
Еще не весь ушел в себя ручей,
взорвавшийся, прорвавшийся в горах.

* * *

Жить в космосе – причуда древних греков.
Они его касались полотенцем.
И я, вошедший в зарево младенцем,
сквозь камни пробираюсь человеком.

Щекастый день цветет в долинах странных.
Здесь моря нет, но Крымом веет жарко.
И детство проступает нежно, жалко,
и утро наступает слишком рано.

Быть в космосе – немое ощущенье.
Припев прикосновенья, созерцанья.
И камня монолитное рыданье.
И трав сухих немое песнопенье.

И сухость пробуждает жажду видеть.
А влажность пробуждает жажду слушать.
И медленно восходит в гору лошадь.
И тавры прислоняются к Тавриде.

Я медленно бреду по горной вязи.
И нет мне подчиненья смыслоряду.
Лишь горы подчиняются обряду,
пропетому в невидимом алмазе.

И есть лишь миги наших узнаваний.
Припевно расширяет море души.
Но я иду не по морю – по суще
сквозь оползни сияний в миг касаний.

* * *

Здесь неизвестность насыщает взгляд.
Причудливая смесь камней и стен.
Кто ныне свят, тот вечно будет свят,
и проклят будет тот, кто ждал измен.

Камней изменчива структура слез,
цветные сути прожитых веков.
Мой взгляд до них едва-едва дорос
вот только что, но – кто? когда? каков?

Что в смыслах проку; торжествует взвесь,
смывающая морщь с пастушьих век.
Я остаюсь не там, я остаюсь не здесь.
Я ухожу не вниз, не улетаю вверх.

* * *

Нездешни вещи детства, и затем
не рухнет дом, ведь мы в вещах укрыты
как рыцари кромешно белой свиты
в скрещеньи всех созвездий и систем.

Какая бесконечность этой дали,
увиденной однажды в зеркалах.
И в медленном кувшине, как в начале
вещей земных, ты обнаружил страх.

Но в этом страхе столько тишины
и непосильного для нас блаженства,
что мысли, унесенные в священство,
с тех пор переполняют наши сны.

Миг переполнен силой свыше нас.
Но вся она укрыта в даре зренья.
Все сбито с ног огнем ошеломленья.
Но это твой, а не вещей экстаз.

Но это только кажется, что ты
не весь укрыт в своем первозачатьи.
Кусты творят в тебе свои заклятья,
и меркнут ослепительно цветы.

* * *

Я спустился в долину Айн-Кэрем.
Я поднялся в долину Айн-Кэрем.
Непонятно: спустился, поднялся?
Непонятно: вернулся, остался?
Непонятно: понятно ли, внятно
возвращаюсь к себе я попяtnо
или это, со мною в разлуке,
непонятные властвуют внуки.
Виноградники всходят как ветры.
Эвкалипты похожи на ветлы.
Возвращаюсь я или прощаюсь?
Намечаюсь я или кончаюсь?
Как здесь странно двойное движенье.
Восхожденья полет в нисхожденье.
Промывание белое пятен,
чей шершавый рассвет нераспятен.
Выраженье какой-то излуки,
у которой нет вечной разлуки.
Я спускаюсь в долину Айн-Кэрем,
поднимаюсь в долину Айн-Кэрем.
Я держусь за невидимость нити,
и движенье – свеченье событий,
под которыми – вечный источник.
Нет, не тот, где восцарствовал Плотник,
а источник – как бульканье, речка,
неизвестная плоти утечка,
возносящая дух виноградин
в Суламифи урочище, ради
неизвестной нам кротости, вроде
той, чья родина – в огороде.

* * *

Исчезновение. Нам остается лишь исчезновение.

Нет, не мгновение.

И Гёте может бродить по свету как эти скалы,
заживо вкопанные в движение,
в это восхождение, в это снисхождение,
в это скольжение,

которому недоступны наши мысли,
но доступны выси,

в которых верха столько же, сколько и низа.

И от этого чувствуются ритмы блюза,
а точнее – мелодии такой,

характера какой я никогда не слышал.

Исчезновение – это присутствие свыше.

Где нет патетики, юродства

или обращения к кому-то.

В этом не господствует ни вожделение, ни смута.

Исчезновение – это движение по струнам сути.

И колокольная игра в еврейском воздухе –

то разве судьи?

иль слуги или господа? о нет – напрасно:

звучит, поет лишь колокол прекрасный.

Пожухлый, кажется, он? Нет,

он матовый, чуть бледный,

он прост и вкусен, словно воздух этот медный.

Исчезновение: ты исчезаешь со своей улыбкой,
обращенной к ветру.
Мне не поймать тебя, твои слова я не приму на веру.
И потому все исчезает вдруг в беспамятном твоем
неголовном уборе.
И ритм твоих шагов – он исчезает там, вдали,
где дышит море.
Все исчезает в памяти, как в области сознанья.
А шелест твоих крыл –
как блики желтые на стенах зданья.

* * *

Что музыка в душе, которой нет?
Что этот шум, глаголющий о знаках,
и эти образы, чей очерк одинаков?
Но смыслов нет, когда встает рассвет.

И в прошлое кидается река;
как ни стремительна, но все течет к истоку.
И нет ни от чего нам больше проку.
И даль мгновения все так же далека.

Сложенье звуков в многозначный ряд
пытаются нас тихо упокоить.
И разноцветно полуночен этот поезд.
И в «божий прок» нас вносят всех подряд.

Огромный айсберг прошлого встает
недосягаем как фантомный город,
чей приворот как душный черный ворот.
Но как блаженно этот град поет!

* * *

Над свитком Торы замер иудей.
Облей его хоть всей водой потопа,
не вздрогнет он; совсем как Пенелопа –
хоть вечность будет ждать: «Мой Одиссей!»

О единичность! О способность ждать,
где суть всегда одна: то ожиданье Бога.
Неважно, что когда кому отдать,
тут важно клокотание порога.

Порогов нет, но есть один конец,
и Бог стучится к нам без всяких правил.
У каждого есть Сын, есть Дух, Отец,
которого ты вовремя восславил.

Какая в сердце накипь, дребедень,
и кажется, что все уже случилось.
Вдруг чудится: не сердце плачет – лень.
И в Одиссея девочка влюбилась.

Все то, что ждется, то конечно есть.
Бог не ушел из свитков древних Торы
лишь потому, что там сегодня весть
всю извлекли вот этот лес и горы.

Препятствий нет и нет преград воде.
Дух певчей птицы носится над свитком.
Где мы живем? Неведомо. Нигде.
Но дом свой носим так же, как улитка.

* * *

Архаика туниковой культуры?
Песни предков выцветшая нить?
Но пространство продолжает длить
линию невидимой скульптуры.

Впрочем, это право облаков,
впрочем, это право дичи синей:
домогаться горечи стихов
и псалмов превосходящих линий.

Что за архаическая блажь –
быть страною заповедной книги
и входить в запальчивый выраж,
продолжая Иовы интриги?

Скороспелые плоды – не в счет.
Невозможно вырвать просветленье.
Медленно господь в тиши растет,
но стремительней тайфуна крыльев тление.

Лики с неба не сильней цветов.
Как печален миг еврейской песни,
где паденье медленных листов –
обученье очень древней вести.

Тот, кто знает очень дальний стих,
понимает то, что наступает.
Тот, кого внезапно гром настиг,
ангела на землю выпускает.

Ангел этот чуточку чумаз,
волосат и часто хочет кушать.
Он не повергается в экстаз
от того, что любит небо слушать.

Как замедлен этой песни лёт.
Прелые в корнях ползут картины.
Странный жар и очень странный лед.
Как волхвы, в ночи поют руины.

* * *

С холмов далеких муэдзин поет.
Морским свечением мерцают минареты.
Невидимо в нас кто-то жажду льет.
А нам все кажется, что мы никем не спеты.

Сверхмерная тропа поверх пустынь.
Тоска выбрирует в прогорклом нежном гуле.
Как будто где-то меркнет мира стынь
и смысла нет во всем земном ауле.

О муэдзин, о странный муэдзин!
Оставь избранникам их солнечные мысли.
Едва коснувшись звездных паутин,
мы в ночь тоски, как в горы эти, вышли.

* * *

Англичане устроили изящную мизансцену
из камней и деревьев
поблизости от Старого города в Иерусалиме
и назвали ее – Сад гроба Господня.

Но разве мы все – не в этом саду уже, о Господи?!

Родившийся спрашивает: - Где я?

А ему хором: - В саду гроба Господня.

Трепещущий, да восстанет он из праха!

* * *

Абсолютный пейзаж начинается там, где не ждешь.
Где прозрачная тонкая ночь – не покров.
Где бессмертную воду в странном раскаянnyи льешь
и врываешься в кровь и спускаешься
медленно в кров.

В абсолютный пейзаж поднимаешься шагом за шаг.
Гаснут очи смотревших,
не гаснет лишь камень и холм.
Оступиться нельзя даже в самый пропащий овраг,
где блистает сосна в окруженыи невидимых волн.

Гаснут очи когда-то смотревших как будто на нас.
Словно видят они эти волны охваченных скал,
где блуждает еще этот медленный призрачный Спас,
где блистательный воздух кого-то как будто искал.

Абсолютный пейзаж переходит из медленных рук
в отрешенную мглу безъязыких пространных границ,
где безмерная воля из огненно-влажных излук
извлекает восторг, что невидимо падает ниц.

* * *

Горы обугленных снов –
вот что такое музыка.
Горы так велики, что по ним не подняться,
кажется, никогда.
Вот что такое МУ
Вот что такое ЗЫ
Вот что такое КА.
Музыка – это долина,
где хорошо бы лежать.
Вот что такое ДО
Вот что такое ЛИ
Вот что такое НА.
Вечные уголья снов.
Но прозрачных как лед.
Но горячий хрусталь.
Вечные сны поднялись
в Надгималайский хребет.

* * *

Нельзя у дерева небесное отнять.
А о подземном я, конечно же, молчу.
Нас не обнять, нас просто не унять.
А напоследок я дарю себе свечу.

В нас созревает прах иных времен.
Как будто можно ложкой время есть.
Ты вышел в сад – так просто бокернём,
чтоб с головою в пустословие не влезть.

Улитками наполнен ночью сад.
Они ползут при свете фонаря.
В их рожках к небу – тихий зов и взгляд.
Мне кажется, их мысли что-то зрят.

Кто засевает подземелья жар?
Земля полна осколками планет.
Они очнутся на невидимый пожар,
и переполнит недра вдруг волшебный свет.

* * *

Мы в странствие пускаемся как в смерть,
чья неизвестность так же постоянна,
как эти волны мысли рьяно-пьяной,
где если подлинно, – то только бунт и смерч.

Мы в странствие пускаемся как в смерть.
И в это опусканье дней в карман.
Господен он, карман, бездонен.
Мир неподъемен, он пожалуй взорен,
нешадно не похожий на обман.

Калека-день, он чей-то черновик,
блестательно отпущенный в отваге.
И ты в своей неотвратимой влаге
взгляд отрываешь от прозрачных книг,
где, запертая, зыбится душа,
неважно для какого напряженья.
Стяжанье голосов – как вороженье,
неважно для какого виража.

Мы в странствие пускаемся как в смерть.
Мир изумителен, но неподъемен,
ни с чем не связанный, он черен, темен
и столь медлителен, сколь занесенный меч.

Рассыпанный на тысячи свечений,
он медленно уходит в божью тень.
Вот-вот уйдет, как ускользает день,
как умирает кровь в чаду влечений.

Что странствие? что смерть? какая суть?
Ты хочешь взять лишь то, что взять не можешь.
И оголтело сон движенья гложешь,
но сок волнения пытается блеснуть
и ухватить за перевалом горы,
где бесконечны ветры, тихи створы,
где равно: бодрствовать и намертво уснуть.

* * *

Шевелятся огни Иерусалима.
А где-то тело папоротника певуче поет в долинах.
Сила, идущая на нас, неодолима.
Но что мы понимаем в этих винах?

В голосе мы быть может что-то и отыщем.
Но музыка простейшая – изначальна.
Не стоит и пытаться считать до тыщи.
Влага ночная если не прекрасна, то печальна.

Медленная поступь мифов:
об Единороге, об Эвридице...
Бесполезный кладезь волхвований.
До чего прямолинейны, до чего дики –
миги осталбенений, миги блистаний.

Ученая влага – как грешный омут.
Влага твоих очей – наивна.
Я бреду в кустах: в кудрях Авессалома.
И эта дорога ночная – дивна.

Иерусалим могуче возвышен.
А папоротник где-то певуче недосягаем.
Выглянувший из себя – ступает на крыши.
И светит ему планета другая.

МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРАВЫ

Проходя как-то вечером по окраинной иерусалимской улочке, я на одной из каменных стен среди объявлений и афиш вдруг заметил стихотворение на трех языках: иврите, английском и русском. С первого же взгляда я понял, что оно отправлено лично мне. Называется стихотворение: То место, где мы правы.

В том месте, где мы правы,
никогда не вырастут весенние цветы.

Место, где мы правы, –
вытоптанное и сухое, как двор.

Но сомнения и любовь превращают мир
в мягкий и разрыхленный –
словно после вспашки,
это как земля, размягченная кротом.

И шепот прозвучит там,
где был дом, который разрушен.

Иегуда Амикай

Амикай каким-то образом догадался, что в последнее время со мной почему-то крутоссорились близкие, которым я не делал ничего плохого, они входили в штопор необъяснимых, невнятных обид и агрессивности. И потому я очень сильно недоумевал, порой мучительно сожалея о потерях, впрочем, уверенный

в своей безукоризненной правоте. О, Иегуда Амикай – привет тебе из моего запустенья! Из моей затянувшейся недоуменности. Быть может ты и прав, Амикай, быть может, быть может, очень даже может. Что пользы от правоты, если под ней зияет незаживающая рана? И разве на гордой правоте, презрении к человеческой глупости и на забвении вырастают розы? Но как жить без роз, о Амикай? Как жить без нежного шепота в доме? Что есть «чувство справедливости» и «моральная правота»? Сухой заасфальтированный двор, где все в порядке и где уж точно не найти лужи. Но разве справедливости мы ждем друг от друга? Разве справедливости ждали от меня мои друзья? Мы ждем стихийного, «противузаконного», мы ждем исключения себя из общих «правил». Да прозвучит любовный шепот в доме, разрушенном справедливостью и правотой, о Амикай!

* * *

Аппарат по производству сознания
встал на дороге жука.

Жук не производил ничего,
он просто смотрел на меня.

Конечно, он видел не то,
что я подразумевал под собой.

Жук производил что-то,
о чем мне никогда не узнать.

И лишь долина под нами производила пейзаж,
который нам обоим нечто шептал.

И это на мгновение сблизило нас:
аппарат по производству сознания

и

аппарат по производству неизвестности.
Но и я для жука производил неизвестность.

И для долины мы были незнакомцами
из тумана неизвестности.

Но знал ли жук о себе?

Но знала ли долина о себе?

Но знаю ли я о себе?

И кто он – вечный наблюдатель в кустах?

* * *

Завязаночно пуп Земли.
А нового ты не создаешь.
Устроишь только кавардаш.
Устроен точно пуп Земли.

Устроен ловко хвост змеи.
Змеисто стелется мираж.
Земной еще начален стаж,
но выюги землю замели.

Я золото не подниму.
Мне золото не в честь, не в ствол.
Не сяду я за общий стол.
Мне эти речи ни к чему.

Я пут ручных не потерплю.
Но все вокруг течет как речь.
И я в пространство жажду лечь,
хоть сеновалов блажь люблю.

Возлюбленная – это холм,
которого нам не поднять.
Долины речь вольна как стать
во тьме земной бродячих волн.

Ты снова смотришь в синеву,
уже пропетую до дыр.
Но на язык она как сыр.
Мила равно орлу и льву.

А впрочем, все это не в счет,
пустая трата лабуды.
Что вещи? свойство наготы.
А слово плотностью живет.

О плоть земная, ты – ковер,
укутавший пустую грудь.
Кто может веры суть вдохнуть
и лечь костью на божий двор?

Дворами здесь крадется тать,
он невидимка, он – костер,
что на холме вошел в простор,
пытаясь тоже богом стать.

Но все утрачено как слух,
молчит извечная грязь.
И нет здесь вечности следа.
Поет лишь звезд слепой пастух.

* * *

Кто розу поцелует в губы?
Увидишь ты, как медленно он тонет,
как безнадежно слабы эти срубы
и как легки тяжелые ладони.

Сосновый воздух проникает ладан.
И то, что срублено, уже пожалуй плохо.
Но роза – это рана: гений лада,
и ладанней ее лишь орхидеи локон.

Еще коварнее он в глубину уходит
того, что не назвать уже еще словами.
Там бог просодии, там похотливый Один,
там царь Давид охотится со львами.

Там медлить невозможно, только вечер
и ты уже – под пушками Сиона.
Там горы собирают свое вече,
и гад морских не счасть под зовы звона.

Немедленная ведается просинь,
когда губами – сам, само касанье;
миг безнадежных краж, где осы в осень,
где небо волочится волосами.

Угаснут ароматы, похоть слабо
еще сочит намек на неизвестность.
А снизу подступает сверху лава.
В нас снова назревает зова местность.

* * *

Кто не рожден, тот может быть живет,
но сам не ведает о том; он просто жив,
жив искони, от страсти не дрожит,
не знает, что есть смерть и страха мёд.

Кто не рожден, тот может быть еще
не зацепил нас времени крылом.
Ведь мы живем наивно, напролом,
а он ведет вневременному счет.

Наш глазомер не знает этих мер.
Мы прикасаемся к тому, что в нас течет,
нам блеск понятен: он щуршит, он звездочет,
мы упиваемся многоразличьем вер.

А он, мятежный или нет, он в нас поет.
И это несомненно так и есть.
Но в нем теряется, как молния, вся весть,
и божество его поет, не зная нот.

Без этой череды прекрасных бус –
в момент разрыва рот вопит от смертных мук –
как бусинки, летит за звуком звук, –
мир рушится, как лопнувший арбуз.

А он, мятежный или нет, он все поет.
Вневременную песню не схватить.
Что значит жить, скажи – что значить жить?
Но знать не знает этой тайны, кто живет.

* * *

Где море синее, где снов растительные миражи –
как абажуров древность,
там, в старых лавочках, вдруг просыпается на взлет
седая ревность.

Седое море юное летит, в мираж ему – улики.
Оно живет не как угрюмый пес и кроткий крот,
оно всегда на пике.

Какая древняя летит волна, о боже правый.
Монета древняя лежит, вольна, в расплёве славы.
И трапезная тишина волит волною.

Как близок вечер наш к тому, что срочно Ною.
Непогрешимо спящий миг бессрочен и неузнаваем.
А то что узнано в познанья миг –

куда, неверные, сбываем?
Мы море древнее не унесем ни в даль, ни в близость.
Мы медленную страсть пасем, как реки –
взгорбленную морем низость.

* * *

Здесь Суламифь прошла,
здесь Соломон седел.
Здесь тишина вошла
в сущность суетных тел,
чья походка темна,
чья походка смутна.
Но какая волна
кровь промывает до дна!
Как не тревожно горит
каждая здесь высота.
Обреченно не спит
 даль, собой занята.

* * *

Осыпаны холмы ночные звездной пылью.
Огнями залит сад немых,
утраченных почти, столетий.
Руками разгребаю всё, что было былью.
Ерушалаим подо мной летит, как бог Асклепий.

Ему мы дарим петушиные бои и завихренья воли.
И ученик Хирона щурится с устатку.
Ему мы отдаем всю мощь невыстраданной боли.
Но петухи и в нас поют медлительно и по порядку.

Мы отдаемся созерцанью; что еще
тревожно ждет нас?
Мысль несогбенна, сколь ни прогибай ее,
страшась поломок.
Ведь где-то рядышком всегда наш остров Патмос.
И рушит в океан твой сын судьбы обломок.

И нам не справиться бы было с этим ритмом,
когда бы эвкалипт не пел на склоне.
Как далеко от этой веточки до Рима!
Как зыбко зыбаются огни – совсем как в лоне.

* * *

Костер горит и в воздухе пустом
возносится все выше: Адонай!
И до утра горящим за стеной
мерещится и зыбится Синай.

Костер горит и воздух пахнет мглой.
И звезды возвещают: жизнь чиста.
И вся земля пронзительной иглой
оттаскивает вервие креста.

И мальчики восторженно-тихи
и девочки воинственны во мгле,
и кротко землю мерят пастухи,
взор останавливая вдруг на мне.

Мне странно ждать здесь песен от людей,
когда земля сама во мгле поет,
безудержно горька как горный мед,
страшна как кровь, вольна как Асмодей.

Ай, Мойше, вечный маленький пловец.
Кто оглушительно мессию ждет,
 тот проворонит первый поворот,
 тот не заметит пастырей-овец.

Наследства нет, оно во всем сквозит
и падает громадою минут
на мозг зеркальный, словно это пруд,
где скальный храм довременно скользит.

* * *

Ах, Адонай, шепчу я неуклюже.
Ах, Адонай!
Край неба все тучнее и все ближе.
Все ближе край.

Не знаю я, где небо и где горы.
Вся твердь как лист,
исписанный прыжками Терпсихоры,
чей танец горд и чист.

Нам невозможно не струить измену
из чрева век.
Вонзает камень свою веру в вену,
как человек.

Меж медленною Адоная жизнью
и смертью нас
мысль проплывает словно шелест листьев
и третий глаз.

И словно юноша, рыдающий на скрипке, –
весь Адоная скарб.
Перед лицом – немедленный и зыбкий –
летит луны эстамп.

И то, что называется игрою,
на самом деле – явь.
Я этих тучных гор мольвою не покрою.
Вхожу в них вплавь.

Здесь солнце не проносится по крышам.
Когда-то здесь был Рай.
И ничего здесь нет ни ниже и ни выше,
ах, Адонай.

* * *

Есть пониманья мимолетный вкус.
Он называется то Хари, то Солярис.
Как пух от уст Эола, с божьих уст
срывается стеклярус.

Нам свой язык громадный не поднять,
он в чреве рта, как монстр, неповоротлив.
Развернется волненье – не унять.
Так в бурю океан – прекрасен, но уродлив.

И медленная оседает соль
на основанье наших ощущений.
Нам не понять громаду этих воль,
входящих в плоть немедленных смещений.

Лишь глаз ребенка может снять разрыв
меж столкновеньем этих звонких бусин.
Но ты, войдя в свой медленный залив,
твердишь одно: сегодня просто осень.

Но я замечу: осень – только твердь,
к которой облака обманчиво прибиты.
А изначально – небо было, ведь
мы – только дождь, на землю длинно литый.

Вкус пониманья – как он прихотлив,
как мимолетен, как наивен.
Ты в забытьи идешь, касаясь сонных див,
и лишь в мозгу шумит семантик ловчий ливень.

Ах, осени стеклярус, козлодой,
дай мне немного спелых вишен,
бродящих между твердью и водой,
где вечный наш вопрос восторженно излишен.

* * *

Нам не уследить за яростью книг.
Рассвет поднимается, словно он крыша.
Меч поднимается выше и выше.
Нам друг за другом не уследить.

Мы с тобой движемся нарасхват.
То, что не схвачено,— умирает.
Медленно в море утреннем тает
каждый чужой захват.

Тело твое небеснее лиц
на этом мелькающем циферблате.
Гладь незабвенна вишневого платья,
влага внезапных ресниц.

Медлить нельзя, мгновенье уйдет
и унесет Эвридику.
Деву пречистую к тленному лицу
слабость волною прибьет.

Но сладострастье пустою мечтой
мир обвиняет в разврате.
О, мы конечно же сестры и братья,
миг обладанья – пустой.

Все же туманом охвачена вся
страстная нежность долины.
Медленно зреют царские вина,
смертную боль принося.

* * *

Идти в этой явственной тяге пространства.
Идти и не слушать путей окаянства.
Идти, ощущая скользенье мозолей
и кактусов свежесть и яркость озолий
и этих стволов, поднимающих крону,
каркас, возносящий пространства икону.
Ты тихо идешь, окруженный цветами,
и дом в стороне, окруженный крестами,
и дом, восходящий в пространственность выси,
оставил повадки медвежьи и лисьи.
Он просто стоит и в движенье прекрасен,
и сам ты в пространстве пространственно ясен.
И сам ты едва ли ужаснее неба,
ужаснее этих пустых перекрестков,
где голову клонит молчанье Эреба,
вонзаясь в бездомность оставленно броско.

* * *

Есть нагота присутствия в себе.
Она таится в каждом вздохе кожи.
Но в дальних островов пустой пальбе
ее мольбы беспочвенны до дрожи.

Есть крест, который нам не превозмочь.
Как храбро дуем мы в валторны, трубы,
когда со всех сторон к нам входит ночь,
которой в нас срамные требы любы.

О одуванчики немедленные дней!
Их пух летит без промедлений
в присутствии невидимых теней,
не знающих зароков и знамений.

Как прост мохнатый баснословный шмель.
Его присутствие в себе непостижимо.
Взорвавшийся костром надмирный хмель,
вошедший в горлышко, как будто в жерло Рима.

Мариенбадские элегии прошли.
И Ульрика была как лепет лета.
И бедный Вольфганг сплошь глотал нули.
И вновь не спал как Вертер до рассвета.

О, орхидейные бесстыжие дела!
Нельзя присутствовать и быть любимым.
Отсутствие – вот остров, вот скала,
где вёсны постигаются как зимы.

* * *

Как гончая иду по следу Твоему, иду по следу.
Ты след отдал кому? Исследую, иду по свету.
Рассветный чуть блеснет огонь.

Он обожжет и вдруг исчезнет.
И замертво вдруг падает напев
в нечеловечьей бездне.
Цеплянье за напев, которого никто не знает
корня и истока.
Вот отчего так вознеслась тоска, уже сама сладка,
уже сама как око.

* * *

Памяти Георга Тракля

Голубой зверь, ночь, одиночество.
Куст терновника, стена, ручей.
Медленны поэты высочества,
слезы лунных троп, пустых очей.

У холма лежащее сокровище.
Мшистый лес, фиалок малый круг.
Сердце жрущее судьбы чудовище
у речных и у свечных излук.

Снова ночь и меркнущее зарево.
Пурпур неба снова в синеве.
Снова жизнь как низверженье замертво.
Снова день как лепет мертвых век.

Но струится тонко-тонко пение,
и ручей сквозь мозг ревмя течет.
Ловит слух свое самозабвение,
в адский рай волна себя влечет.

Божья кровь – кто знает это бедствие?
Этот ужас, этот пьяный дождь?
Жизнь – как прокаженное отверстие,
возвращающее нечто в ночь.

Этот холм кончается в созвездиях,
а созвездия кончаются на дне
озера, где светятся известия
о мирах, которые во мне.

* * *

Блаженство касания камня глазами.
Когда его кто-то в долины приносит.
Нас белые горы касаются сами.
И ветер межмирные губы гундосит.

Здесь губы блаженствуют, каменных створов
касаясь, стен дома и сада и арок.
И что им таиться от призрачных взоров.
Сам камень взволнованно розов и ярок

и сам подступает к открытию сути,
которая высветлена с изнанки,
где кто-то ворочает глыбами жути,
плюя на прогнозы болтливой Ананке.

Губастые камни с прожилками встречи
кидают тебя обнаженно к Востоку.
Забыв про пустейшие говоры речи,
ты в камень рассвета ныряешь глубоко.

* * *

Здесь даль и близъ воплощены в одно
невидимо блистающее дно.
Оно касается глазниц и точек век,
и тянется к ступням могучий верх
ступенчатых белеющих долин,
где греет дудку мальчик Алладин.
Ступнями огненными небо носит ночь
до воплощенья духа в чью-то, скажем, дочь,
которая на самом деле мать,
и утром ветер будет обнимать
напевный рокот мимо юных гор,
где медленно сгорает снов костер.
И, втянутый в глубинное родство,
ты не покой вдруг ощутишь, а — колдовство.

* * *

Как день ко дню, так трепетно фонарь
нас поджидает, словно где-то встарь,
и медленное-медленное лето,
как эта бесконечная весна
и огненная сила жить без сна
и ты – волнением стены моей согрета.

Как эта крошечная площадь хороша.
Как ни смешно, но в ней звенит душа
комарика немедленным укусом.
Ты чувствуешь, как снова юн восход,
и взора твоего захлебный взлет,
и лето шевелит мохнатым усом.

И медленная сила этих стен
и крошечная ярость этих вен
и пасть долин, крылатая как эхо.
Мы рядышком тихонько постоим,
и проплынет в раскачку бренный Рим
и в сон уйдет, а мы поверим в это.

Как невозможно верить в этот сон.
Когда горит огнем его фасон,
и несгораемо бликуют эти стены.
Без затруднения здесь дышит донный миг,
и пасть скалы прекрасней пасти книг,
и медленно алтарь вскрывает вены.

А вечером фонарь как часть миров
немедленно кострует без костров
и что-то делает со мной, в тебе и с нами.
Какая бренная немедленная тишина,
как ты крылато рядышком стоишь,
и медленно на нас летит цунами.

* * *

Нет предела блужданью искристого тела пустынь.
Влага медленно входит в один только жаждущий рот.
Влага медленней ночи и просто безвольно течет
по волшебному дну, где блуждает
наш чувственный инь.

Все, что здесь подсмотрел, будет взято
без всяких волхвов.
Одураченно может бежать по пустыне сайгак.
Ты напрасно дрожишь, существуешь то этак, то так,
на холмах твоих млеет могучее лежбище львов.

Этой ночью туман разогнал одинокие сны.
Будем знать, если вдруг нападет пустоцвет и хандра.
Этой ночью встает баснословно бесцветна гора,
и рассвет отпускает могилы, что равно вольны.

* * *

Прощай балерина по имени Век,
и рек наше слово не вещий Олег,
и мы пробираемся к устью.
Шершавая дерева сторона
касается вечера, вечера дна,
клянясь семиверстою грустью.

И семеро горестных давешних слуг
бредут в неизвестном в исчадьи излук,
и хор называет их счастьем.
Но мерно шумит Иоаннов хорал,
и это встает как хребет, как гора
и меры становится частью.

* * *

Вкусает день пчела и мед ее божествен.
Вкусает этот мед божественный медведь.
И сонмы солнечных, из тьмы пришедших женщин
пытаются коснуться и посметь.

Но что посметь и что еще здесь будет?
И было ли здесь то, чего нам не понять?
Неведомо нам то, чего коснулся Будда
в предчувствии себя, в отсутствии огня.

Как пристальны шмели и вертолетов кроны.
Блуждает по долам бессмысленная мысль.
И бедная земля, всепожиратель лона,
нас балует и жжет, и пожирает ввысь.

Мы – в центре: это всё, что град дает нам вышний.
Травинкою горчит гречиха у плетня.
У входа в сельский дом сидит последний нищий.
Сегодня – судный день и нет иного дня.

* * *

Я выстрою пространство без границ.
О безгранична, о ave sol!
Живущая без зовов и страниц.
О безгранична на раны соль!

Йерусалимскою подернут мглой,
мой мозг уснул до лучших перемен.
Метет хамсин пастушеской метлой.
Мир соткан из надрезов и измен.

Всё изменяет: так в могилу мать
сходя, нас ждёт, не ведая зачем.
Метет песок, не в силах свет унять,
и прошлое кончается ничем.

А женщина бессмысленна в ночи.
Ей безразлично, кто посеет хлеб.
Ей нипочем, что зов кровоточит.
Ей ведомо: любой любовник слеп.

Изменчива любая светотень.
Твой взгляд так чист и так бездонно лжив.
Невероятна прыть, а в прыти – лень.
И мысленный ручей течет, фальшив.

* * *

В зеленом море есть туман, а в нем кораблик.
Но шум морской недостижим, как беглый цадик.
Закрой глаза и так сиди, но не услышишь
и до скончанья дней лица воды, где дьявол дышит.
Шум ускользает как вино в момент истленья.
Непознаваемое дно вопит о бденьи,
которого нам не настичь: в нем минус скорость;
и потому мы словно дичь:

в нас бег и ярость-хворость.

Какая дикая здесь благодать: всё в белой пене.
И хочется себя отдать, но не Елене
и не Троянскому коню, не Пирамиде,
не даже карточному королю и не Тавриде.
Бег тихо совершаet круг и молча гаснет.
Безгласная молва течет, она всего опасней.
Укроемся не от облаков, пусть шум волны нас режет,
и выползает на песок монаха лязг и скрежет.

* * *

Как ты напал на нас, Господь, – без всяких слов!
Без предисловий, без пустых прелюдий.
Как фейерверком окружив венцом иллюзий
и музыкой невидимых послов.

Мы выпрямляем медленную стать,
и снова подгибаются колени.
В какой безродности анклавы гордой лени.
Венцы срываются и жаждут когти рвать.

Но отступать немыслимо: кругом
один Господь с простертymi крылами.
В его глазницах звезды меркнут сами
и мирно отправляются на слом.

А мы – звезда иль что-нибудь иное?
Возможно ль нам чего-нибудь не сметь?
Сквозь нас течет сиянье голубое,
и медленно сквозит сквозь жилы смерть.

* * *

О море, падкое на сновиденья!
Пора и мне солить соленья.
А я молчу, а я всё жду.
И всех пиров былых виденья
тихонько жгу.

О море гордое ристалищ!
Когда бы мне касаться клавиш,
когда бы знать, откуда звон.
Но если плачешь, значит славишь.
Дили-динь-дон.

Ступивши тихо на планету,
ты весь отдался свету, лету,
хоть тень стоит без дна.
И в помрачены рви кассету:
она в ночи – одна.

Но лето медленное донно,
и каждый миг как примадонна,
он возвещает торг.
Но вечно вече: белла донна!
Хоть лжив восторг.

Шумит блудливая растрата.
И море шепчет: Гёте, Гатем.
И гаснут блики лиц.
А мир влетает просто в Атом
под звон ресниц.

* * *

Мы превращаемся в прах,
нежная детства подруга.
Песнопенье в слезах.
Горькая брови излука.

Лучники нас стерегут
там, за заставой недальней.
Травы прогорклые жгут,
трогают гроб величальный.

О, как отчаянны сны
маленькой девочки Кати.
Боги стройны и странны.
Громы прекрасны в раскате.

Молнии вечные бьют
в небо и в юные травы.
Лошади озеро пьют –
там, у недальней заставы.

* * *

Меркнем? о, нет; звук? о, нет же.
Падший движется вспять; танцующий – нежен.
Волоком на погост. О, великаны цепи.
Взорванный, все же держится мост.
Бубнов ритмы движутся к цели.
Цепенеющий цементно молчит.
Молчанье выдыхает гортань всей мощью.
Танцующий медленно – медленный щит.
Созвездия некто вытанцовывал ночью.
Танец – преобразователь пространств,
а может быть смыслов, а может быть речи.
Он – жанр преступлений, обятий, убранств,
охот и бессмыслиц и меркнущей встречи
волхвов и охотников в горной степи.
Останься одна, подожди до рассвета.
О жанр преступлений в рассветном пути,
о льды и пространственность лета!
О жанр безрассудства: бежать и бежать,
скользить словно дождь безпощадный.
Оставь мне возможность тебя удержать
рукой волшебной и жадной.

* * *

Гёте кушал померанцы,
олеандры рвал, левкои,
итальянки, итальянцы
шли к нему толпой, покоя

нет Йоганну и Вольфгангу,
каждый хочет отличиться,
а в душе тоскою к Гангу
воет римская волчица.

Померанцы кушал Гёте,
в тишине, под сенью сливы.
Он работал без расчета,
упоенный и счастливый.

Анемонами богатый
сад его тонул в молчанье.
А мужья, слегка рогаты,
утопали в одичанье.

Удивительное дело:
дружба – это предвкушенье
удивления пострела
на ночное девы бденье.

О, Миньона, где ты, где ты?
Изначально было слово?
Но печальней нет ответа,
чем пространство птицелова.

Гёте ловко вел гондолу
и вообще любил быть юным.
Даже в старости он долу
не клонил главы, и струны

по ночам его звучали
словно сосен песнопенье,
и в конце он как в начале
в явь входил как в сновиденье.

А еще любил быть мудрым
и печальным старый Йоганн.
Утром был он свеж как утро.
По ночам был стражем окон.

Потому что там шумели
и кричали звезды что-то.
Там глаголами шумеры
угощали бога Тота.

И таинственный советник
померанцы ел блаженно.
И к Востоку мчался вестник
всепрощенно, всесожженно.

* * *

Я готов из поцелуя
сделать рощу и кораблик.
Я мелодию настрою,
по которой сохнет зяблик.

Если кто-то любит ехать,
то другой – король лежанки,
и ему весь мир не к спеху,
к спеху – песни на полянке.

Кто-то может быть высоким,
кто-то просто ниже ростом.
Кто-то – призрак у осоки.
Кто-то дышит очень просто.

Словно маленький кузнецик,
он ничем не озабочен.
Одуванчик – тот же мячик,
миг, лежащий у обочин.

Кто-то стену поднимает
и не видит черных трещин.
Кто-то в пропасть пёсом лает
и не любит голых женщин.

Кто-то думает, что ночи
это стены града Бога...
Мир невидимый грохочет
на полянке, у порога.

Ну а мы с тобой готовы
в поцелуй вернуть тумана.
Посреди судьбы как дома
снова встанем рано-рано.

* * *

Мудрый знает, зачем он идет по бескрайним пескам.
Море швыряет песок оттого, что не может иначе.
Горе, которое в нас, безутешно бьет небо в висок.
Море преследует тех, кто волхвует
над словом «удача».

Вот и пройди по путям, меж которыми тонкая нить.
Нить перелива лучей и сигнальных огней семафора.
Тот, кто пытается молча из нашего плена уплыть,
ласточкой белой кружит
меж созвездием Сна и Босфора.

Ветрена эта молитва, свечу задувает пролив.
Дух пробивает слезу, словно солнце сосновую рощу.
Даль виадука ползет, он сегодня бескрайне ленив.
Ветер, промывши гортань,
бесполезное брюхо полощет.

Так и останется бред наших лежать городов.
Некогда Ирод ленивый любил писсуарные трели.
Камень забил его горло и выжег причины следов.
Тысячи юных младенцев
в причинные выси смотрели.

Кесарь по миру идет, поднимая блестящую сталь.
Боги огня и воды исступленно ворчат по привычке.
Мудрый волхвует как солнце и верит
в бесследную даль.
Морем вздыхает гортань и поют колокольно яички.

* * *

О ветреная, ветреная голь!
О желтая безветренность тоски.
Представленно преставится глаголь,
хоть смыслы эти коже не близки.

И мудрая, но медленная зрень
пройдет сквозь эти мудрые холмы
и высветлит пейзаж, где зреет лень,
и затемнит пейзаж, где правы мы.

Булгаковская степь Иешуа
смешные высветляет веера.
Здесь некогда сошлись в холмы слова
и под слова легли не фраера.

* * *

Мир тайно пуст и кажется ничьим.
И мы – сединка в мощном море льна.
Кто знает, может быть травинки вкус
сейчас вкушает тайная волна.

Мир тайно пуст, и это тоже миг.
И каждый знает втайне – он никто.
Как глупо буквой быть в потоке книг.
Но книги – нет, ее не сочинял никто.

И сочинительство – то бред писак.
Подобна глупой женщине стезя.
Но нет стези – тропа, но нет тропы, нельзя
вступить на путь, ступить на сушь никак.

Незнамо пустотами сквозит,
неграмотно волхвует тут и там,
и каждый обнимающий – бандит,
и каждый, льнущий к смерти, пьет нектар.

И тот, кто в это верит, тот пустой
и сам он промывается волной,
летящей и поющей и еще
гниющей, но пока это не в счет.

* * *

Бог коричневых долин
тело втягивает в горы.
Он проходит в кожи поры
сквозь цветной вельвет маслин.
Неизвестный музэдзин
входит в мысли Терпсихоры.

Пламя медленное тает
в алом сумраке востока.
Ночь волшебна, лежебока
нас с горой в концерт верстает.
А пока закат листает
ритмы в жилах крови тока.

Здесь стремительное время
замирает и несет нас.
Но куда – не знает лотос.
И костер, волхвия, дремлет.
И поют, в разрывах, земли.
Всё яснее звездный компас.

Почему-то это тело
понимает тело склона.
Где-то здесь волхвует лоно.
Мышь мгновенно пролетела.
Снова робко, неумело
прикасаюсь к створам слова.

* * *

Мелодия, звучащая не для людей.
То зов виолончели иль трубы?
Мы – в землю уходящие рабы.
Мелодия пропетая – вольней.

Шершавая, она на зрелый вкус
пожалуй не похожа на вино.
Сама в себе она само Оно,
прошедшее отчаянья искус.

И тот, кому мы можем песню петь,
давно скончался в отрешенны дел.
И медленная поступь зрящых тел
еще не может что-нибудь посметь.

Мы пропадаем, боже правый, что ж,
пожалуй это зренье не для нас.
Мелодия звучит не в здешний час
и повергает все искусство в ложь.

Не для людей звучащая волна.
Не для людей прорыв земной коры.
Мы медленно истаем до поры,
когда останется мелодия одна.

* * *

* * *

Как просто он стоит и как он весь
нам недоступен до скончанья дней.
Немедленная в нем благая весть.
Он медленно истаивает в ней.

Все кажется, что рогом прозвучит
и вырвется как пламя звездный бег.
Но что-то нас скрывает; он молчит
как око в око звездный человек.

Беспутная волна нас усечет
и скроет миг присутствие лесов.
И медленная осыпь голосов
разделит жизнь на нечет и на чет.

* * *

Ночь. Ночь. Повторяй: ночь, ночь.
Повторяй: ручей, ручей.
Так и появится Шуберт ничей,
чтобы тебя уволосить.

Кто это просто: что-то сказать.
Как это просто: спеть.
Здесь ничего не надо уметь,
надо просто не ждать.

Мы в ожиданье уходим как в смерть.
Полночь – полна.
Шуберт: как мог он взять и посметь?
взять и напиться сполна?

Этот Фишер-Дискау – волхвы
взяли б его с собой.
В нем нет ни капельки от мольвы.
Только – слеза и гобой.

* * *

Останки моря. О, бескрайний берег!
Усталые бесценные останки.
Мы не откроем в нем уже Америк.
Мы – в вертикали подлинной изнанки.

Поработленные трепещут луны.
И пена возникает безысходно.
Но кто-то приобщает к миру струны,
которые шершавятся природно.

Симфонии не пишутся рукою.
И лес передвигается так тихо.
Гладь моря наполняется тоскою,
когда в глазах подспудно зреет лихо.

Уместен говор только колоколен,
заглохших на пределе истощенья.
О говор моря, как он страшно болен.
Как звонко в этой боли соли пенье!

* * *

Я – застывший в кристалле пустом остывающих рек.
Надвигается пыльная буря омрачающих лет,
где ни я, ни она и никто
не заметят личинку блистающих дней.
Заворожено смотрит прохожий в окно.
Надвигается свет, надвигается мрак.
Кто иссяк, тот наверное верит в пустяк,
где долинам не цвесть, где пучинам не жить.
Берегами тихонько поют ковыли.
Алыча расцвела, распушился жасмин.
Мы уходим и нет нам дороги иной.
Дом – всегдашне пустой, неизменно большой.
Мы забыли судьбу, что летит на больших
скоростях, как лавина бесстрашия лет,
как Везувий летит на культурную снедь.
Саду больше не цвесть, мы всегдашне не здесь.
Я – в кристалле небесной пастушьей волны.
Мои песни полны
гордым шепотом свеч,
возгоранья волны,
в ком ты – вечности речь?

* * *

Всё то, что здесь мы называем явью,
на самом деле проплывает сном.
И день летит в пустой алтарь на слом,
и медленно творится бурелом,
и умираешь вдруг со вздохом «я ли?»

Проявленное движется вовне,
и отдаешься ты как встарь волне,
и кто-то, но не ты, чего-то хочет.
И горестно ты смотришь на алмаз,
не понимая смысла слова «глаз»,
и горная гряда в тебе грохочет.

И эта невозможность ухватить
себя за ускользающую нить:
ты остаешься вновь с бродячим хламом
испорченных, истерзанных монет –
лиц человеческих, всезаточивших свет,
и усмехаешься усмешкою лжеламы.

Желаний гаснущих в тебе переворот,
наверное, когда-нибудь придет
в простое равновесие исхода.
Но медленная завязь на корню
лепечет непотребно слово дню
и вольно исключается природа.

Русь

Всадник, пролетающий в пространстве
по дорогам Киевской Руси.
Мерно дышит поле окаянством,
поворнувши Землю на оси.

Медленная бешеная лошадь
пролетает меж глубоких рек.
Можно здесь бездонно топот слушать,
ей вслед летя на крыльях век.

Лето, пролетающее в страсти.
Вызревает медленная рожь.
Межиконно высится напасти
в горном воздухе, которым ты живешь.

Греки повенчались с милой Русью,
где теченьем время унесло.
Всадник устремляется не к устью –
супротив течения весло.

Весело ль лежать среди долины,
потерявши божии права?
Вызревают медленные вина,
и молчит на плахе голова.

Иерусалим, 2001 г.

Содержание

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ВЕТРА

«Меж мной и деревом – громадные пути...»	7
Восточный ветер.....	8
«Возвращение – единственная любовь...»	14
«Какая тревога, какая тревога...»	16
«Летит, летит моя лодка, не зная отваги...»	17
«Тихий ангел вошел к тебе...»	18
«Сколько бы ни пел нам, покачиваясь, синий крест...»	19
«Когда я начинаю лист, то он конечно никакой...»	20
«Люди ходят вокруг меня, ходят...»	21
«И Кадриорга лился лунный свет...»	22
«Я вижу и с закрытыми глазами...»	23
«Свет очей твоих освещает меня не случайно...»	24
«Ветер крышу готов сорвать...»	25
«Если бы (и чего, казалось бы, проще!)...»	26
«Конечно, от себя сказать человек ничего не может...»	27
«Ты знаешь, как ветер поет в проводах...»	28
«Словно полный до краёв кувшин...»	29
«Я знаю, что нас убаюкает время...»	30
«Нет слов, мой дальний, нет слов...»	31
«Закружило в снегах мой день...»	32
«Все это так примитивно, как сказ...»	33
«Когда блаженства нет, то хаос...»	34
«Всё, что мы делаем, мы делаем для чего-то...»	35
«Тень двери появляется медленно как сон...»	36
«Как прошелестит во мне эта осень...»	37
«Там, где есть я, быть может и сам Трисмегист...»	38
«Неуклюжи пространства плохо прочитанных книг...»	39
«Расплетая этот ветхий дикий сад...»	40

«Научи меня плыть посреди беспардонных пучин...»	41
«О, это небо, высотой с бесконечный дом...»	42
«Фантастические дали...»	43
«Блаженная суть не становится меньше блаженной...»	44
«Колдовство расцветает при полной наготе...»	45
«Бога нет, – я скажу...»	46
«Слова не выходят из головы...»	47
«Какая угроза жизни встает из глубины ее...»	48
«Монашенко по двору прошла...»	49
«Мне не окликнуть никак то, что проходит...»	50
«О, бедный, бедный дом мой!..»	51
«Это сила войти, это сила уйти...»	52
«Принеси, принеси мне полночь в лунном опереньи...»	53
«Нипочему, ниотчего...»	54
«Что пользы – нечто знать и обмануть себя?..»	55
«Никто не станет говорить о сущем...»	56
«Мы не будем стоять, мы не стоим у порога...»	57
«Плоскость зеркала непередаваемо пуста...»	58
«В молитву уйти не всякий может...»	59
»Несуществующих людей больше, чем существующих...»	60
«Знаете, на чем все ловятся? На красноречии...»	61
«Даниил Андреев. Роза мира...»	62
«Вокруг меня так много вещей...»	63
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?..»	64
«Когда ты хочешь стать собой...»	65
«Когда я начинаю лист, то он конечно никакой...»	66
«Если я сплю-сплю-сплю-сплю...»	67
«Воде отдам земное...»	68
«Если ты назвал что-то храмом...»	69
«Я дам тебе лунного голубя...»	70
Город в деревне.....	71
«Очнись! Вот чашка на столе...»	74
«Мы движемся вместе, мы движемся вместе...»	75
«Голову я оторву стене...»	76
«Еще одна кончается тетрадь...»	77
«Ты говоришь мне: сядь и напиши Книгу...»	78
«Много здесь тех, кто кричит: я поэт...»	79

«Вечность еще не пришла...».....	80
«В этих лесах слишком много тропинок...».....	81
«Горе, горе! Как будто душа моя мимо проходит...».....	82
«Каждое мгновение может стать последним...».....	83
«Мое внутреннее течение неостановимо...».....	84
Цапля.....	85
Юность.....	86
Поэт.....	87
«Меч рассекает меня надвое...».....	88
«Донно, забвенно и донно...».....	89
«Блаженства не будет никогда...».....	90

Имена послов

«Ты не узнаешь никогда того...».....	92
«Ты не сможешь мне память свою подарить...».....	93
«Немного кислых щей, вареная подметка...».....	94
«Мой водоем пустынно в травах спит...».....	95
«Я не знаю, зачем умирает закат...».....	96
«Словно пятое небо, приоткрывается полночь...».....	97
«Кем был ты – о том не узнает из живших никто...».....	98
«Голос, согретый-нагретый неведомым солнцем...».....	100
«Я так задымлён этой патиной дымчатых лет...».....	101
«Сколько слов накурлычено нежностью сердца...».....	102
«Мир, осторожней которого нет, – где ты? скажи!...».....	103
«Ночь наполняет карту дня каким-то сном...».....	104
«Напитай глаза, напитай их, напитай!...».....	106
«Кем был я в предыдущем воплощении?».....	107
«Ни то, ни это – есть одно окно...».....	108
«Пыль шепчет мертвому: умри...».....	109
«Ночь отрицает себя блеском горы...».....	110
«Я оставил тебя, ты придешь и не будет тоски...».....	111
«Я охвачен цветеньем снегов, этим ритмом...».....	112
«Горек хлеб, выбираемый каждым из нас...».....	113
«В комнате кто-то был до того, как туда я вошел...».....	114
«Нет причин ошибаться тому, кто еще не пришел...».....	115
«Жук пробирается между отрогами...».....	116

«Мы падаем в море — то ты, то я...».....	117
«Озвученно я трогал здесь кусты...».....	118
«Уходит жизнь... Куда? Зачем?...».....	119
«Наши жизни — имена послов...».....	120
«Я ничего не умею сказать...».....	121
«Тот кто не знает тоски...».....	122
«Прыгнув, взлохматился век...».....	123
«Молнией птица влетела в окно...».....	124
«Текст вводит в одичание души...».....	125
«Но если пенье не войдет, то что тогда?...».....	126
«Что хочешь сделать — сделай поскорей...».....	127
«Я попытаюсь что-то написать тебе вдогонку...».....	128
«Кто волен — не вольнее нас с тобой...».....	130

Иерусалимский тропарь

«Еще не все ушло за горизонт...».....	132
»Жить в космосе — причуда древних греков...».....	133
«Здесь неизвестность насыщает взгляд...».....	134
«Нездешни вещи детства, и затем...».....	135
«Я спустился в долину Айн-Кэрэм...».....	136
«Исчезновение. Нам остается лишь исчезновение...».....	137
«Чть музыка в душе, которой нет?...».....	139
«Над свитком Торы замер иудей...».....	140
«Архаика туниковой культуры?...».....	141
«С холмов далеких муэдзин поет...».....	143
«Англичане устроили изящную мизансцену...».....	144
«Абсолютный пейзаж начинается там, где не ждешь...».....	145
«Горы обутленных снов...».....	146
«Нельзя у дерева небесное отнять...».....	147
«Мы в странствие пускаемся как в смерть...».....	148
«Шевелятся огни Иерусалима...».....	150
Место, где мы правы.....	151
«Аппарат по производству сознания...».....	153
«Завязаночно пуп Земли...».....	154
«Кто розу поцелует в губы?...».....	156
«Кто не рожден, тот может быть живет...».....	157

«Где море синее, где снов растительные миражи...»	158
«Здесь Суламифь прошла...»	159
«Осыпаны холмы ночные звездной пылью...»	160
«Костер горит и в воздухе пустом...»	161
«Ах, Адонай, шепчу я неуклюже...»	162
«Есть пониманья мимолетный вкус...»	164
«Нам не уследить за яростью книг...»	166
«Идти в этой явственной тяге пространства...»	167
«Есть нагота присутствия в себе...»	168
«Как гончая иду по следу Твоему...»	169
«Голубой зверь, ночь, одиночество...»	170
«Блаженство касания камня глазами...»	172
«Здесь даль и близъ воплощены в одно...»	173
«Как день ко дню, так трепетно фонарь...»	174
«Нет предела блужданью искристого тела пустынь...»	176
«Прощай балерина по имени Век...»	177
«Вкушает день пчела и мед ее божествен...»	178
«Я выстрою пространство без границ...»	179
«В зеленом море есть туман, а в нем кораблик...»	180
«Как ты напал на нас, Господь, – без всяких слов!..»	181
«О море, падкое на сновиденья!..»	182
«Мы превращаемся в прах...»	183
«Меркнем? о, нет; звук? о, нет же...»	184
«Гёте кашал померанцы...»	185
«Я готов из поцелуя сделать рощу и кораблик...»	187
«Мудрый знает, зачем он идет по бескрайним...»	189
«О ветреная, ветреная голъ!..»	190
«Мир тайно пуст и кажется ничьим...»	191
«Бог коричневых долин...»	192
«Мелодия, звучащая не для людей...»	193
«Нам не выруть по прямой ни в единую степь...»	194
«Соль пребывания не вся еще во мне...»	195
«Ночь. Ночь. Повторяй: ночь, ночь...»	196
«Останки моря. О, бескрайний берег!..»	197
«Я – застывший в кристалле пустом ...»	198
«Всё то, что здесь мы называем явью...»	199
Русь.....	200

В московском издательстве «Водолей»
вышли две книги переводов Николая
Болдырева:

Пауль Целан. Избранные стихотворения.

2019. - 372 с.

Георг Тракль. Грязящий Гелиан.

2020. - 296 с.

В 2020 году в издательстве «Русский Гулливер»
вышла
итоговая книга прозы Николая Болдырева
(Северского)
«Потаенность естества»

Болдырев (Северский) Николай Федорович
Абсолютный пейзаж
Стихотворения из трех книг

Набор и вёрстка – Евгений Дымов. Корректор –
Елена Северская.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Гарнитура
Georgia.

К печати подписано 7.07.2023

Отпечатано с готового оригинал-макета
заказчика в типографии ООО ПКФ «Тираж
Сервис»: 454091, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 19.